



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

PG
3470
P63
N219

6 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 6

ИСТИНСКА СЛУЖБА

НАПИСАО
И. Н. ПОТАПЕНКО

ПРЕВЕО
М. Ђ. МИЛИЋЕВИЋ



Gift of
The Thorne Foundation



**STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES**



Ротаренко, И.Н.
"

6 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 6

ИСТИНСКА СЛУЖБА

НАПИСАО

И. Н. ПОТАПЕНКО

ПРЕВЕО

М. Ђ. МИЛИЋЕВИЋ



PG3470
P63N219

И. И. ПОТАПЕНКО

Игњат Николајевић Потапенко, један између млађих даровитих књижевника руских, написао је приповетку „На действительной службѣ.“

Приповетка та, поред неоспорних својих лепота, одликује се и тим што би нашим религиозним приликама дошла као наручена.

Зато је Српска књижевна задруга одлучила у првом колу својих издања дати српским читатељима и ту приповетку, и мени је поверено да је преведем, и за штампу спремим.

Ја сам превод свршио, а приповеди сам на-дено српско име: „Истинска служба.“

Желећи пак познати српске читатеље и с писцем ове красне приповетке, молио сам г-ђу Наталију Р. Ђапунову рођ. Сјеченову да ми набави и пошље макар најкраће биографске белешке о г. Потапенку.

Увек велика пријатељица српске књижевности, г-ђа Ђапунова, по тој мојој молби, својски се је

потрудила, и чак у Парижу нашла писца који ми одонуда 26 пр. м. написа ово писмо:

,Rue de la répinière 6
Paris 8 декабря 1892
26 ноября

„Милостивый Государь!

„Я только что получилъ отъ г-жи Ляшуновой, изъ Харкова, письмо, въ которомъ она сообщаетъ о томъ что Вы дѣлаете переводъ моей повѣсти „На дѣйствительной службѣ.“

„Позвольте, прежде всего, отъ души поблагодарить Васъ за честь, которую вы мнѣ оказываете своимъ предпріятіемъ. Вы самы по личному опыту должны знать, какое рѣдкое счастье для автора, когда за переводъ его вещи берется художникъ. Въ особенности это надо сказать о русскихъ писателяхъ, переводить которыхъ считаетъ себя въ правѣ всякий, научившійся говорить по русски „здравствуйте,“ и „пращаите.“ На мою же долю выпало особеное счастье быть переведеннымъ вами и это будетъ составлять предметъ моей гордости.

„Г-жа Ляшунова пишетъ о вашемъ намѣреніи приложить къ книгѣ мою краткую біографію, и прибавляетъ, что книга будетъ выпущена въ сѣвѣтъ въ концѣ ноября или въ началѣ декабря. Очевидно, что книга уже вышла, и біографическая свѣдѣнія теперь ни къ чему не послужатъ. Дѣло въ томъ, что письмо г-жи Ляшуновой было адресовано въ Москву, въ редакцію „Русской Мысли,“

а оттуда прислали его мнѣ въ Парижъ, оттого оно и запоздало. Но на всякий случай — вотъ факты: родился въ 1856 г., значитъ отъ рода 36 лѣтъ; отецъ — сельскій священникъ въ Херсонской губерніи. Восемь лѣтъ былъ отданъ въ бурсу (духовно-учебное заведеніе стараго типа), потомъ перешелъ въ одесскую духовную семинарію (гдѣ, между прочимъ, товарищемъ моимъ былъ извѣтный болгарскій политический дѣятель Стамбуловъ). По окончаніи семинаріи поступилъ въ новороссійскій университетъ, откуда перешелъ въ петербургскій; но здѣсь увлекся музыкой, сталъ посвящать консерваторію, въ которой кончилъ курсъ.

„Литературную дѣятельность началъ въ 1880; года четыри помѣщали работы въ журналахъ, за тѣмъ, перебѣгавъ въ Одессу, до 1890, ничего въ журналахъ не печаталъ, а работалъ въ мѣстныхъ газетахъ. Повѣсть „На дѣйствительной службѣ“ пріобрѣла мнѣ много друзей, самъ же я считаю своей лучшей работой повѣсть „Генеральская дочь,“ печатавшуюся въ „Недѣли,“ и нынѣ переведенную на англійскій и французскій языки.

„Позвольте мнѣ воспользоваться этимъ случаемъ что бы выразить вамъ мое глубокое уваженіе.

„И. Потапенко.“

Адреса:

,Belgrade

,Г-ну Милићевићу

Београд.“



Ротаренко, И.Н.
"

6 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 6

ИСТИИНСКА СЛУЖБА

НАПИСАО

И. Н. ПОТАПЕНКО

ПРЕВЕО

М. Ђ. МИЛИЋЕВИЋ



У БЕОГРАДУ

ШТАМПАНО У ДРЖ. ШТАМПАРЕЈИ КРАЉЕВИНЕ СРВИЈЕ

1892

ЛК

PG 3470
P63 N 219

И. Н. ПОТАПЕНКО

Игњат Николајевић Потапенко, један између млађих даровитих књижевника руских, написао је приповетку „На действительной службѣ.“

Приповетка та, поред неоспорних својих лепота, одликује се и тим што би нашим религиозним приликама дошла као наручена.

Зато је Српска књижевна задруга одлучила у првом колу својих издања дати српским читатељима и ту приповетку, и мени је поверио да је преведем, и за штампу спремим.

Ја сам превод свршио, а приповедци сам на-
деноу српско име: „Истинска служба.“

Желећи пак познати српске читатеље и с пис-
цем ове красне приповетке, молио сам г-ђу Ната-
лију Р. Ђапунову рођ. Сјеченову да ми набави и
шошље макар најкраће биографске белешке о г. По-
тапенку.

Увек велика пријатељица српске књижевности,
г-ђа Ђапунова, по тој мојој молби, својски се је

потрудила, и чак у Парижу нашла писца који ми одонуда 26 пр. м. написа ово писмо:

,Rue de la pépinière 6
Paris 8 декабря
26 ноября 1892

„Милостиивый Государь!

„Я только что получилъ отъ г-жи Ляпуновой, изъ Харкова, письмо, въ которомъ она сообщаетъ о томъ что Вы дѣлаете переводъ моей повѣсти „На дѣйствительной службѣ.“

„Позвольте, прежде всего, отъ души поблагодарить Васъ за честь, которую вы мнѣ оказываете своимъ предпріятіемъ. Вы самы по личному опыту должны знать, какое рѣдкое счастье для автора, когда за переводъ его вещи берется художникъ. Въ особенности это надо сказать о русскихъ писателяхъ, переводить которыхъ считаетъ себя въ правѣ всякий, научившійся говорить по русски „здравствуйте,“ и „пращайте.“ На мою же долю выпало особеное счастье быть переведеннымъ вами и это будетъ составлять предметъ моей гордости.

„Г-жа Ляпунова пишетъ о вашемъ намѣреніи приложить къ книгѣ мою краткую біографію, и прибавляетъ, что книга будетъ выпущена въ сѣтъ въ концѣ ноября или въ началѣ декабря. Очевидно, что книга уже вышла, и біографическая свѣдѣнія теперь ни къ чему не послужатъ. Дѣло въ томъ, что письмо г-жи Ляпуновой было адресовано въ Москву, въ редакцію „Русской Мысли,“

а оттуда прислали его мнѣ въ Парижъ, оттого оно и запоздало. Но на всякий случай — вотъ факты: родился въ 1856 г., значитъ отъ роду 36 лѣтъ; отецъ — сельскій священникъ въ Херсонской губерніи. Восемь лѣтъ былъ отданъ въ бурсу (духовно-учебное заведеніе старого типа), потомъ перешелъ въ одесскую духовную семинарію (гдѣ, между прочимъ, товарищемъ моимъ былъ извѣтный болгарскій политический дѣятель Стамбуловъ). По окончаніи семинаріи поступилъ въ новороссийскій университетъ, откуда перешелъ въ петербургскій; но здѣсь увлекся музыкой, сталъ посвящать консерваторію, въ которой кончилъ курсъ.

„Литературную дѣятельность началъ въ 1880; года четыри помѣщалъ работы въ журналахъ, за тѣмъ, перѣхавъ въ Одессу, до 1890, ничего въ журналахъ не печаталъ, а работалъ въ мѣстныхъ газетахъ. Повѣсть „На дѣйствительной службѣ“ пріобрѣла мнѣ много друзей, самъ же я считаю своей лучшей работой повѣсть „Генеральская дочь,“ печатавшуюся въ „Недѣли,“ и нынѣ переведенную на англійскій и французскій языки.

„Позвольте мнѣ воспользоваться этимъ случаемъ что бы выразить вамъ мое глубокое уваженіе.

„И. Лотапенко.“

Адреса:

,Belgrade

,Г-ну Милићевићу

Београд.“

Познавши, колико толико, пишеву личност, чујмо што говори Г. А. М. Скабичевски, књижевни историк, о списима његовим.

„Главна особина Потапенкова дара, вели он: — која га опшtro издаваја од свих других младих белетриста, јесте необично ведар и јакован поглед на живот и на људе, пун неког добродушног оптимизма; и потпуно одсуство онога суморно-милтавог и отровног скептицизма, којега је и сувише у данашњој руској лепој књижевности. Исто тако, у Потапенка нема ни трагичких тонова, нити ичега што би, омрачавајући читатељу душу, изазивало у њему осећање туге и незадовољства животом. Макар шта да се слика у спису Потапенкову, макар то биле најстрашније ствари, читатељ увек износи бадро осећање неке утехе; души му је лако, и он је чак готов викнути: „Море, људи! ма како да је — опет је добро на овом белом свету!“

„Не прта Потапенко живот само ружичним бојама, па тим да изазива ово добродушно расположење. У њега ви можете наћи оне исте друштвене ране и нереде, оне исте трагичке и драматичке мотиве, оне исте зле и неваљале људе, оне исте несите пауке који једу невеште и слабе мухе, као год и у свој данашњој руској белетристици. Само што онамо писац, сувише нагињући ка трагизму и с мрачним погледом на људе и на живот, навлаш згушњава мастило да јаче обележи оно што највише буни читатеља у

опртаној појави, што му душу потреса. Потапенко се ни мало не напреже да ова или она драматична појава потресе читатеља; напротив он још умеша по нешто такво да са свим неутралише оно што је драматично: или у злочинца драме усељава тако поштована својства да се читатељ и нехотице мири с њим, тим пре што у исто време и добри људи, који страдају, излазе веома смешни, и тим као да заслужују своја страдања; час врлина толико побеђује на крају, а зло се немилостивно каштигује да читатељ, видећи такав свршетак, великодушно је готов опростићи људма све свађе, кад се само ствар овако срећно свршила.

„Имајући на уму све то, могли бисмо очекивати да би читатељ остављао Потапенкову причу некако незадовољан, јер сам зна да се у животу куд и камо далеко не свршује све тако срећно као у њега, да су рђави људи још гнуснији, него што их он црта. А овамо читатељ с особитим задовољством чита списе Потапенкове, и — ако му једно и не буде по вољи — друго му је са свим као из срца извађено. То долази отуда што у списима Потапенковим има нешто, веома значајно за његову творачку моћ, има смеха, хумора!

„Одиста она места у списима Потапенковим читатељи читaju с највећим задовољством, и она се најдуже памте, у којима се писац смеје својим јунацима. Најглавнија особина са свим добродушнога, али за то опет веома оштрога и нештедљивога хумора Потапенкова јесте то што он, уловивши смешне и глупе

VIII

стране изображаваних у спису лица, открива пред вами и сву ругобу унутарњих противуречности које се у њих налазе.

„Ето у самој „Истинској служби,“ саставу који није писан за смех, најлепша су она места где се игра пишчев хумор. Читајући причу како млади академац оставља сјајну карјеру, и иде у село да буде попате да оствари највећи идејал своје службе, ви се толико не сладите тим поступком оца Ћирила, колико оном смешном узбуњом коју је произвела та Ћирилова намера у престрављеном причту црквеном. Ту се ви на свакој страни сртате с масом типова и сцена којима се кикоћете од свега срца, и у којима хумор пишчев избија из сваке врсте.“ — — —

Неће бити с горега ако се овде објасне и неколике руске речи које у књизи нису превођене. Тако:

Врста је мера простору, и има 500 хвата.

Десетина је мера зиратној земљи, и има 2400 хвата.

Пуд је мера за тежину, и има 40 руских литара.

Причат је реч стара, и људма од књиге позната; другојаче се вели *клир*.

На Св. Николу, 1892

у Београду

М. Ђ. Милићевић

ИСТИНСКА СЛУЖБА



И С Т И Н С К А С Л У Ж Б А

I

Међу онима што очекују воз, а пуна их је железничка чекаоница, падаху особито у очи две слике. Обе су припадале свештеничком реду, и беху у дугачком оделу. Али то само и бејаше међу њима слично, јер, чим се боље у њих загледате, одмах опажате да су то два човека различнога чина. Онај што стајаше код округлога стуба за објаве, и марљиво прочитаваше ред возова на југозападним железницама, по свим знацима, бејаше из свештеничке аристократије губернскога града. На њему бејаше угасито зелена атласна мантија; на његовим прсима сијаше се велики крст о масивном ланцу, и још нешто на трачици у боји. Његови пуначки образи млечне боје, окружени беху проседом косицом, која се на ниже згушћавала и тонула у широку марљиво рапешљану браду. На рукама је имао прне рукавице, на глави — угасито пепељави меки рутав шешир. С часа на час, он би вадио испод мантије масивни златан сахат и, рекло би се, био је незадовољан, што време не иде онако брзо, како би он желео.

Други је седео на клупи у самом углу. Њега је био прикљештио велики свежањ некога дебелог паланчанина, који сећаше напоредо с њим. Пре свега

је падала у очи његова са свим седа, врло дугачка брада, која се чинила још дужа од тога, што је он приклонио главу, тако да му је брада допирала до колена. На коленима су му биле руке с дугим, ружним прстима, и са набреклим плавим жилама. Скутови пепељаве већ пожутеле од времена његове мантије беху се расирили, те се иза њих виђаху велике чизме од грубога јухта. Старац беше танак, сув, и јако погурен. Бледо његово лице бејаше као лице у мртвача, нарочито зато што држаше очи затворене и што дремаше. Али га је по некад она врева која је долазила од перона разбуђивала. Он би и нехотице разгледао силни свет који је био пред њим, на који није био, видело се, навикао, па, као да би познао шта је и како је, опет би се вратио у свој дрем!

Оном свештеном лицу у атлаској мантији нај-после се досади проучавати ред возова; оно уграби тренутак кад овај у пепељавој мантији отвори очи, и приђе к њему. Овај последњи одмах се трже, устађе, и, колико могаше, исправи се.

— Гледам, гледам, лице ми је познато... а не могу да се сетим где сам вас видео, рече онај у атлаској мантији с пријатним баритоном и развлачећи речи.

— А ја сам вас одмах познао, оче ректоре!... Ја сам, ако је по вољи сетити се, ћакон из села Устимевке, по имену Игњат Обновљенски.

Ректору би и мило и зачуди се.

— Обновљенски... Обновљенски... Ваш је син... да, да, да! Тако ви сте отац Кирила Обновљенског? врло ми је мило, врло ми је мило! Красан ћак, за углед сваком!... Знате ли да смо ми за њега добили захвалност од академије. Да како! врло, врло ми је мило! А шта је сад с њим? Он је свршио?

Бакон Игњат Обновљенски очевидно се обрадова чувши да тако важно лице, као што је ректор семинарије, хвали његовога сина. У крупним очима његовим засијаше се искрице, и саме му се очи овлажише.

Он је био готов заплакати свакад, кад се тако лепо проговори о његову сину Ђириду.

— Ах, ваше високопреподобије, он је свршио... као први магистрант свршио је... Баш као први магистрант.

— Е, па шта је било, јесу ли га задржали при академији? Прве увек задржавају?

— Нису, нису га задржали!

И глас у ђакона на један мах задржта и понизи се. Старац бејаше збуњен. А како је, одиста, то да прве увек задржавају, а Ђирила нису задржали?! Зашто није и он задржан? Он је истина писао „мили моји стари, долазим к вама, и већ више нећу одлазити од вас.“ Види се да није задржан...

— Хм! То је чудно! рече отац ректор: — признајем да то не могу да разумем.

У ђакона се глава затресе; срце му се стисну које од неког неразумљива рђава слућења, које од стида пред опем ректором зато што син његов, за кога је семинарија чак захвалност добила, ипак није потпунице оправдао све наде.

— И ја не разумем!... готово шапатом рече он. Нешто му бејаше застало у грлу, и не даваше му говорити.

— Ја чекам синовца. И он је академик. Заједно с вашим Ђирилом ступио је у академију. Овде је постављен у нашу семинарију, — рече отац ректор, као да би хтео загладити непријатност разговора. Али ђакон њега не слушаше. Звоно с перона јављаше да је воз близу. Он се пожури и сав навали к вратима, ка којима наје сав онај свет, који очекиваше долазак воза. За часак се нашао на перону и с неким душањем у грудма пратио је очима воз што долази. Упро бејаше очи: неће ли где видети милу главу свога сина на прозору од вагона, али није видео ништа. Воз се устави. Ђакон се смрзао на једном месту мотрећи на све што излазе из вагона. Пред његовим очима све се бркало и мешало. Чинило му се да је видео све што су излазили на перон са ковчежићима, и свежњевима, слушао је разговоре, поздраве

пољупце, али је све то за њега било као у сну. Но где онамо отац ректор љуби једнога младића с путничком торбом о врату, а за тим се рукова с другим младићем, високим, бледим, с дугачком русом косом, која му виси испод шешира, с малим науницама и са шиљастом брадицом. Ёво их овамо. Онај други младић не иде него трчи, а у њега, у ћакона, срце утрнуло, глава се окреће, и ноге дркну тако да готово ништа не зна шта бива око њега. Он стиште у своје наручје Ћирила, и неће да га пристане, као да то није састанак него растанак. Ћирило се силом оте од старца. — Е, лепо, лепо, наљубићемо се, имамо кад! рече он јаким дебелим гласом. Сад пртљаг треба узети!

Старац покорно пође за њим. Он је час трчао напред, час се устављао, ударао на врата на која не треба, узимао тућ ковчег; ништа није питао, само је жедно гледао високи стас свога сина, његов ход, његове дугачке ноге, прни државни капут, и од свега тога био је необично радостан.

Кад су узели ковчег, и сели у кола, Ћирило ће упитати.

— А је ли здрава Мурка?

— Марија Гавриловна? Хвала Богу! Чека тебе!

— А што она није дошла у сретање?

— Хтела је, желела је веома. Али мајка, Ана Николајевна, није дала. То се, вели, не пристоји девојци.

— А мајка, сестра, и брат Назар, јесу ли здраво?

— Хвала Богу! Назар је молио да се запопи, или владика не да: „Још мало послужи!“ рекао му је.

Ћакон, за то време, мишљаше сам у себи: „Најпре пита за своју Муру, па онда за мајку. То већ није у реду.“

— Куда да возим, упита кочијаш, ком су заборавили то казати.

— У црквену кућу, у црквену кућу! журно рече ћакон и додаде, окренувши се к сину: — Ми да свратимо оцу Гаврилу, тамо су и моји коњи остали... Ручачемо, и опет довече можемо бити дома.

— Не, не... морамо ноћити... имам посла. Морам отићи преосвећеному (владици)!

Старац хтеде упитати: рашта? али оћута. А међу тим су се у глави његовој укрштале непријатне мисли. Свршио академију као први *магистрант*, и сад да иде преосвећеному. А рашта? мислио је он. К преосвећеному иду оваки простаци као ја што сам; тамо се траже за попа или ђакона. А магистрант, и то магистрант први — шта ће он? Али вeseо што му је мили син већ свршио, дошао, и седи напоредо с њим у колима, старац заћута, оставивши своја пића за доцније. Син пак није ни слутио о оном што отац мисли и премишља. Гледао је десно и лево, и чудио се разним променама за две последње године. Зида се нова црква, калдрмисали су улицу која води на железничку станицу, а много је и нових кућа поникло.

— Наша губернија напредује, рече он гласно: — и црквена је кућа из нова обојена?

Црквена кућа на два ката, којој се они довезаше, бејаше из нова обојена жућкастом бојом. Близу ње, на великој пијаци, ограђеној гвозденом оградом, била је црква, зграда велика, али незграпна и ћошкаста. Они платише кочијашу, уђоше у авлију, и примише се на горњи бој. Отац Гаврило Фортификантов имао је врло леп и простран стан у прквој кући. По чину, он је био трећи свештеник, и како су становници овога губерниског града били људи побожни, то је и у њега приход био добар. Гости узићу уз узане дрвене стубе, прођу кроз пространи стаклени ходник, и ступе у собе оца Гаврила Фортификантова. Још из предсобља се могло осетити да у сали има нека журба, али журба уредна, без икаквога продометања. На прагу их срете сам отац Гаврило, и најпре Кирила благослови руком, па га онда загрли и три пута пољуби. У тај мах дође пуначка попадија Ана Николајевна, у отворено плавом капуту, и она се пољуби с Кирилом. У тој кући њему су говорили *ти*, и држали су га као сина. Још од другог богословског разреда он је сматран као младожења Марије

Гавриловне. Толика пажња према сину сиромашког сеоског ћакона, могла се разумети само по особитом Кириловом напредовању у наукама. Већ се и тада по здраво знало да ће он ићи у академију.

Седоше. Разговор се врзao око путних ситница, и неких градских новина. Дођe једанаест часова, и понадија позва све на доручак.

— А где је Мура? упита Кирило: — Марија Гавриловна? поправи се он, сетивши се да је никад није тако називао пред родитељима.

— Облачи се, одговори мајка, али је Мура била обучена. Мајка је није нарочито пуштала да изађе, држећи да се не пристоји девојци да трчи у сретање момку. Истина он јесте њезин младожења, али се они нису видели чштаве две године. Много се штошта за то време могло променити.

— Кад ли ће отац Гаврило почети њега пи-
тати, са страхом мишљаше ћакон. Он је много држао
на та питања, а сам се није усуђивао да их почне.
Он се управо прибојавао свога сина, признајући
своје ћаконско миштавило пред његовим магистран-
ством.

У трпезарију уђе Марија Гавриловна. Она се поздрави с Кирилом пријатељски, али онако како је у реду и како пристоји. Кирило нађе да се је она већ подевојчила, и да се испунила. У ње беше доста обично округло лице с руменим, пуначким образима, и живим кестењавим очима. Густа, црна коса, мар-
љиво очешљана, спуштала јој се је испод појаса. Њено држање све по неком типару, опажало се да је усиљено. Сва се била зажарила, и од потреса је ћутала. Хтела би прибити се уза свога драгана, кога је чекала тако нестрпљиво, и кога је сада налазила да је врло леп.

— И тако си ти, Кирило Игњатовићу, први ма-
гистрант духовне академије, са златном медаљом!
Алал ти вера! проговори отац Гаврило, нешто тоном свечаним, а нешто мало и шаљивим.

У ћакона срде затигра. „Сад ће се све обја-
снити,“ мишљаше он, и зато што бејаше потресен,

навали јести с увећаним апетитом. Мура је живо погледала у госта, и са своје стране помислила „он мора бити да је сад врло учен.“

— Да, важна ствар! — иналећи се одговори Кирило.

— Па Богме и јесте важна. Теби се отвара сад најбољи изглед.

— Ето, ето се почиње, мишљаше ћакон!

Кирило на то оћута. Али отац Гаврило беше наумио да то питање испрпе до дна. Зато настави:

— Па како ћеш ти без службе? Мањ ако не намераваш нешто особито?

— Не намеравам ништа, оче Гаврило. Ето сам сав пред вама!

— Ха, ха, то оно и јесте! Чудне ствари, чудне! мишљаше ћакон и, бојећи се да син не прочита те мисли на његову лицу, само гледаше преда се у тањир.

— То је одиста чудно! Први пут сад чујем, да човек добије златну медаљу — па тако без ништа. Чак ништа нису ни нудили. Веома чудно!

— Како нису нудили? Задржавали су ме при академији, а ја нисам хтео!

После тих речи сви у један мах, и отац Гаврило, и попадија, и Мура, и чак ћакон, оставише виљушке и ножеве на сто.

— Ето сад! прогунђа ћакон, али се одмах уплаши. Можда није требало ни то рећи; може бити да то није по вољи Кирилу, и да га врећа.

— При духовној академији... И ти си то одбио? Па ти си права будала! викну отац Гаврило.

— Одиста — будала, потврди попадија. Мура не рече ништа. У ње се згрчи срце од жалости: „Не бисмо ми овде живели!“ сину јој кроз главу. За њу је живот у великој вароши био жеља нада све жеље.

— Шта ћу да чиним, кад волим вас све, волим свој топли југ, волим село у ком сам порастао, волим сељака који је одржао и мене и све моје! озбиљно рече Кирило. Ето зато сам вам и дошао. Волите и ви мене, ако сам вам мио! додаде он на завршетку.

Сви се згледаше, а отац Гаврило рече: — То је похвално. Љубав према својој постојбини и према ближњима ствар је прекрасна. Али зашто би човек одбијао оно што је стекао својим трудом и својим даром? Ти би могао доћи к нама, видети се са свима, и вратити се опет. Могао би видети и село и друго. Али одрицати се професорства, и још где? У духовној академији — то је право злочинство!

— Злочинство! понови с највећим изразом попадија. Није друго него злочинство!

— И шта ће ти село? продужава отац Гаврило. Ваљда ти нећеш живети у селу?

— Ја хоћу да живим у селу! Одсечно и мирно рече Кирило: — Ја хоћу да будем сеоски попа!

Те речи престравише све као гром. У први мах нико и не вероваше. „Шали се,“ сваком сину у памети, и погледаше сви у Кирила. А Кирило седи на свом месту обичан, прибрањ у се, и блед у лицу. У очима му спајаше тврда воља и непроменљива одлука. Сви разумеше да то није шала.

Отац Гаврило поцрвене и, ћипивши од стола заједно са столицом, проговори готово срдито:

— Ти тераш шегу с нама!

— Ја? С вами? С дубоком и истинском тугом у гласу упита Кирило.

Попадија журно уста с места и, ставши као човек који је увређен у најбољим својим осећањима, рече: — Моја ће није за село! За тим, обрнувши се к Марији Гавриловној, додаде заповеднички:

— Марија! у своју собу!

И Кирило се диже и, пришавши к прозору, стаде потресен и узбуђен. Он испод трепавица мотраше на своју драгану, да види шта ће она радити. Марија послуша матер. Она је осећала да јој сузе тек што нису удариле на очи, и, држећи да је то за њу срамота, брже се обрнула к вратима, и неравним корацима изшла из собе. Мајка изиђе за њом. Отац Гаврило сеђаше с лицем првеним и обрвама узмахнутим. Рад беше казати нешто громовито, али место свега тога само што салветом обриса своје брке, устаде,

прекрсти се, и, не погледавши на Кирила и на ђакона, оде за женом и кћерју.

Ђакон је све седео погнувши главу и пустивши руке да висе. Он никако није могао разумети шта то би пред њим? У његовој глави бркале су се испрекидане реченице: Отац Гаврило се врло најутио! И попадија! Први магистрант! Златна медаља! Сеоски попа! Господе Створитељу! И не смедијаше дићи главе да се не би срео с погледом сина свога.

Кирило постоја неколико минута пред прозором, па онда оштро почне ходати по соби закачајући дугачким својим ногама за столице које се дешаваху пред њим. Прошавши неколико пута тамо и амо, и као уверивши се да та шетња није баш угодна, он се устави иза леђа свога оца и задркталим гласом рече:

— Па шта ћемо, одо, да узмемо наш ковчежић и да се чистимо.

Ђакон се стресе.

— Како? Куда? Како ће то бити? Па зар је све пропало?

— Тако се мора мислити, с горком осмејком рече Кирило.

— И зар теби... теби... Ћиро, није жао? страшливим и меким гласом упита ђакон.

— Како ми не би било жао? Само ме срце боли; или ето видиш да нас одбише.

— Одбише! гробним шапатом понови старап. А колико је разбијених његових нада било у тој једној речи? У животу његову беху две радости над радостима: Прва — што је ово његов син, који је кроз све школе био први, одликовао се и у духовној академији, и златну медаљу добио. А друга — сроћење са породицом оца Гаврила Фортifikантова. Је ли смео он, сеоски ђакон, сиромашни, незнани, оistarели у незнани, и мислити о таком сродству? А то тек што не бејаше свршено; њега би примали у протиној кући као пријатеља, као свога човека — и на један мах!...

Он се диже, закопча дугме под грлом од своје већ вете мантије, и с очајничком покорношћу рече:

— Хајдемо, синко!

Изиђоше. Ђирило је корачао чврсто. Срце му је лупало да искочи, али је он знао да се друго не може ништа. Ђакон је страшљиво и тихо талкао за њим. Врата на свим собама беху затворена. Иза њих се није чуло ни разговора, ни каква кретања. Кад беху у стакленом ходнику, ђакон ће шапатом упитати:

— Ама како ово? Зар и без с Богом остајте?

— Па кад неће! глуво одговори Ђирило и, узвеши ковчежић, почне слазити низа степенице. Ђакон се задржа. Тихо, тихо опррину врата на кујни, мрдну прстом куварици и рече:

— Ањута! Ако би запитали... ми смо у московској гостионици!

Ањута га погледа с чуђењем, и закључа за њим врата кад он сиђе низа степенице.

Ђакон ћутећи упргне своје коњичке у таљиге, покупи сено које је попадало на земљу црквене куће; ћутећи оба седоше и изидоше на улицу. Московска гостионица бејаше на крају града. Проплижавајући се к њој, Ђирило се могао сећати како су се пре десет — петнаест година они увек овде устављали и одседали, кад је њега отац после вакације доводио у семинарију. На пространој авлији устављале су се њихове таљиге које су биле јасле за старо њихово кљусе. Широка, доста прљава, без икаква намештаја, „соба“ била је онака као и пре петнаест година. Али и Ђирилу не бејаше до сећања. Ушавши у собу, и сместивши свој ковчежић, он узе ходати с једнога краја собе на други. Он је ишао тако оштро, да је ђакон нашао да ће бити боље да се удаљи к старом познанiku, гостионичару, и ту му стане казивати све што му се било скупило на души.

— Знате шта, оче ђаконе! рекне гостионичар, човек крепка састава и утврђених правила: — Немојте се срдити што ћу вам рећи: ваш син нема једне даске у глави! Верујте, да је тако!

Ђакону би криво: — Е, опростите. Мој син има такву главу да Бог да и вашему такву! рече он с мало жучности.

— Мој ће син бити гостионичар ; њему и не треба така глава ! А ваш је син — преучио . У њега је петак претекао суботу . Бадава , немојте се срдити , оче ћаконе ; ја говорим што ми је жао .

Ђакон остави гостионичара сав потресен , уђе у собу к сину , и упита :

— А хоћеш ли сутра ићи владици ?

Ћирило седе на оветшалу столицу , погледа у оца као у свога друга и рече :

— Седите , тата , да се разговорамо . Ја се с вами још нисам ни разговарао , рече он са свим мирним гласом .

Ђакон брзо седе на кревет који узе крцкати под њим .

— Рашта ћу сад ићи владици ? Ко се жељи попити — треба најпре да се ожени . Ја других девојака не знам , осем Марије Гавриловне . С њом сам се познао ја свикао , а и она са мном . Сад су ми се мисли побркале .

— Побркале ! управо побркале !... као неки одјек понови ћакон .

Ћирило се осмехну . — Није оно што ви мислите . Ви држите да сам ја шенуо ... знам ја .

— Није ми ни на памет дошло то — Бог с тобом ! брзо рече ћакон . — То ја никад нисам мислио .

— А ја само хоћу да мој живот има каквога год смисла . То је све . Ви , тата , нисте човек неразуман , само вас је убила сиромаштина . Ако нико не разуме , ви морате разумети . Од кад за се знам , ја сам живео у селу . Село наше Устимевка сиромашно је . Ја сам гледао како се сељак мучи и живи . Он је у незнању са своје сиромаштине , а сиромашан је са свога незнања . Једно је за друго закачено . За његову сиромаштину ја сам га заволео још у детињству , али је то вољење спавало у мени , зато што сам ја живео не знајући ни сам како , ишао сам ћуда ме је гонио ветар , јер у мене није било ништа моје . А учил сам се много и марљиво ; с књижевном мудрошћу по-

знао сам се, с паметним људма разговарао сам — и тако се мој разум развио. И ја сам видeo да живети бленући није пристојно људском разуму. У мене се створило овако правило: Кад се твој разум просветио, онда ти просвети и разум ближњему својему. И тада ће живот твој оставити траг за собом. А кога треба просвећивати ако не простога човека сељака? Светlostи треба онде, тата, где је тамно. А колико је у селу тамно, ви сами знате. И ето зато, драги мој оцо, ја сам презрео каријеру, лепу службу, и наумно сам бити сељачки попа. Кад ми кажите, оцо, да ли сам шену, или нисам?

Бакон је седео с потгнутом главом. Најпосле је дочекао да чује што син мисли, и свака реч његова падала му је у само срце. Није потпунце ни схватио оно што син говори, али је осећао да у речима његовим има нешто добро, нешто честито. И мило му бејаше што син његов тако лепо мисли, и жао му бејаше растати се с мишљу о узвишењу њиховога рода, и стид га бејаше зато што је посумњао да је Кирило померио памењу. Сва та осећања беху се испреметала у његову срцу, и он само ћуташе. Кирило устаде и приђе к њему ближе.

— Е, тата, одобравате ли ви то, или не одобравате?

Бакон га загрли обема рукама, и прислонивши главу уз њега проромори:

— Ти си човек прав... Са свим по јеванђељу; са свим по јеванђељу!...

Кирило га пољуби у седу главу његову, и лице му сину радосним осмејвом. — Ето то је лепо, тата, што ви мене разумете! Човеку је на свету лакше живети кад има кога који га разуме. Ја знам да ће мати, и сви наши, скочити на мене. А ја сам се у вас увек уздао.

— Да, да! Али шта ли вели твоја Мура? Ако ти њу волиш, ако си се, као што рече, спикао с њом, онда је то горко.

Кирило ћутећи оцучи ходати по соби, а ћакон поседевши малчице, изиђе да му не смета. Поставши на стубама, и помисливши мало, он се на један мах трже и на лицу му се показа израз одлучности. Врну се у собу, узе капу, и кришом оде из гостионице. Сад се пожури правце ка црквеној кући.

II

Овде он заста породички савет, ком су претходиле важне прилике.

Мура, изишавши из трпезарије, седела је у својој соби са страхом очекујући шта ће из тога изаћи. Кад је к њој ушла мајка и казала да су Кирило и отац му отишли, и да је све прекинуто, она је близнула плакати, и казала: да се ни за кога другога неће удати.

— Јеси ли ти луда? Зар да идеши у село да живиш, рекне јој на то мати.

— Мени је све једно; ја њега волим, и живећу онде где живи он. И ви све што радите — узалуд вам је. Ја ћу правце утећи к њему!... Начинићу вам нечувену бруку.

Марија Гавrilовна, редовно смерна и мека, некад, а особито у пресудним приликама, показивала је ћуд материњу, која јој је, јамачно, дошла у наследство. Отац Гаврило би се, у такој прилици, удаљио у своју собу, и закључао би се, оставивши да удара тук на лук. И кад би то био случај обичан, обично би се и свршило. Е, али ово бејаше случај особите врсте, зато мајка попадија не само да се покори пред својом ћерком, него још признаје да је отац Гаврило старешина у кући, и понуди га да он каже што мисли у тако важној ствари! Њих обоје узеше стишавати Муру благим речма.

— Знаш ли ти, весела била, шта је то село, и како се живи у селу? говораше отац Гаврило. Мртвило,

нигде живе душе, само једне каљогаже сељаци. Да се умре од самоће и муке. Сељаци су људи груби, прости, каљави, и они ће ти бити друштво. Зими зајеје међава: никуд кроћити не можеш из куће. Лети прилека и врућина — да се човек скува.

— Мени је све једно; ја њега волим! тврдо одговори Мура. Отац Гаврило, као видећи да се узалуд трудио, ућута и стаде мислити о чем бољем да де-војку одврати.

— И главно је да промислиш о овом, поче говорити мајка: — лепо, ти њега волиш. То је красно. А да ли воли он тебе? Ја бих рекла да те не воли. Кажи сама: човек који љуби своју вереницу, чини јој све што јој је по вољи. Ја тако велим, оче Гаврило?

— Са свим тако, потврди отац Гаврило, сетивши се да је и он некад својој вереници, данашњој попадији, чинио сваку милост.

— А он видиши шта ради? Турно себи нешто у главу, и за ту своју лудорију готов је тебе у гроб закопати. Не, не; он тебе не воли!

— О, попадија! воли, тако ми Бога, воли! јасно рече неки четврти глас, и, погледавши на врата сви се сетише да то није нико други него ћакон који је неопажен ушао као каква сенка. Он се тада не чињаше страшљив и снебивљив: у сваком покрету његову опажала се одлучност. Он стави десну руку на срце и разговетно изговори:

— Оче Гаврило! Мајка попадија! чујте ме Бога ради! Мој ми је син рекао: „Што ћу сада да идем владици, кад су ме одбили? Женити се треба, а ја женске главе на свету нити знам, нити хоћу узети, осем Муре. И зато су ми се сада све мисли збркале.“ Оче Гаврило! Мајка попадија!

И ћакон заплака. Мура, чувши из његових уста тако признање, опет близну плакати, а отац Гаврило и попадија зајуташе гледајући преда се.

— А чим он објашњава ту своју намеру, упита попадија и не гледајући у старца!

— Само жели да ради по јеванђељу.

На лицу попадином изражаваше се највећа забуна. — Оче Гаврило, а зар је у јеванђељу казано да човек баш мора живети у селу?

Отац Гаврило и не одговори на то питање. Он рече ово:

— Ево како ја мислим: Наша је Марија девојка зреда. Она зна шта је чека. Ако је њезина љубав тако јака, да пристаје на то, нека јој буде! А она ће се доцније старати да мужа образуми! И ја мислим да ће се он доцније образумити. А у град се може свакад преселити. Ето тако мислим ја. А ти пресуди како знаш, заврши он окренувши се попадији.

Бакон приђе к њему, пољуби га у руку и у чело, и окренувши се к попадији рече:

— Мајка, допустите да и вама....

— Само ја нећу да будем крива, рече попадија пруживши руку, коју он пољуби са свим од срца.

Мура полети к њојзи, и би дирљива сцена како се сви грле и љубе.

Бакон готово трком оде у гостионицу, и доведе Кирила к Фортификантовима. Али пре него што би се назвао младожења, Кирило је морао издржати по попадије. Кирило је био веома благо расположен, и није одговарао ништа. Чак је мало и обрекао: ако се доцније увери да треба тражити што боље, да ће послушати. Најпосле му се допусти да остане с Муром.

— Муро, рекне он: — ја морам теби објаснити

— Ништа ти мени немој објашњавати, Кирило; ја ништа не разумем; али ја тебе волим, и то је све.

И она се приби уз њега с таким поверењем, да он даље није ни огледао објашњавати јој. Пред вече су њих двоје шетали. Кирило јој је причао о дворовима, о мостовима, о музејима и театрима у великим градовима.

— Али тамо мора бити лепо! говорила је страшљиво Мура, бојећи се да он и то не прими за прекор.

— Јесте лепо; али тамо нема живота! Тамо људи не живе, већ само време проводе. Тамо се сав

живот сагорева у тековини и уживањима. По својој вољи ја ни годину дана не бих тамо провео.

— А ја бих тамо век провела, мислила је у себи Мура.

Сутра дан Ћирило се пробуди рано. Владика је примио од 8 часова. Обукавши на се црно државно одело, које му је ружно стајало, и напивши се чаја, докле су још у прогиној куби сви спавали, он изиђе. Ђакон није спавао, и испрати га до врата. Он га је још хтео благословити на тај пут зато што се излазац пред владику њему чинио нешто са свим необично, али се некако то пропусти. Тек ипак ђакон Ћирила задржи на вратима и рекне:

— Мислим да ће тебе владика примити лепо, јер си ти човек школован и одликован. Али ипак ти показуј према њему своје поштовање.... И још нешто: ако видиш да је прицика, и да је владика добре воље, помени и о Назару брату свом, не би ли се смиловао запопити га.

Ћирило заста у владичиној чекаоници сиљество света, највише сеоских попова у ветим цубетима и мантијама. Једни су били красни за гледање као она два пуначка оца, што моле да се размене местима. Други су са страхом и ужасом очекивали епитимију у манастир, за неваљало владање. Било је и жена, плачних и невољних — јамачно су попадије које моле за издржање, или да могу боравити у кајву ћумезу уз ону цркву при којој су њихови мужеви служили тридесет — четрдесет година. Магистранта духовне академије, Ћирила Обновљенскога, одмах пусте к владици, а гомила остане да чека и даље. Владика га прими пријатељски. Захвалност коју је добила семинарија од академије за Ћирила тицала се и њега.

— Знам, знам; све сам чуо. Отац ректор академије писао ми је. Они су се уздали у тебе, а ти ето нећеш. Због болести, хм! А каква је то у тебе болест? По твом лицу, ти си са свим здрав?

Владика је био врло стар, али је био врло крепак, и миловао је повише да говори. Са свим седа његова брада непрестано се тресла. Био је омалена

расте, и доста пун. Лице му је било просто и безазлено, и сам је био човек добричина, а миловао је да се покаже веома оштар, и да држи јепархију у јежевим рукавицама. Од тога је излазила ова супротност: сви су знали и говорили да је владика оштар, па и врло оштар, а у свој јепархији није се могло наћи десет свештеника кахњених. Извиче се, пропсује, па пусти кући с мпром! Ћирило седне на почићено му од владике место и рекне: „Ја сам са свим здрав, ваше преосвештенство. А што сам за узрок мога отказа помену слабост, то је тек форме ради.“

— Ја то не разумем! Говори, сине, јасније!

— Одиста, ваше преосвештенство, ја сам тога ради и узнемирио вас својим доласком, да вам кажем своје намере. Молим вас да ме запопите на коју парохију на селу!

— Како? Шта је то? Ти си свршио академију; добио златну медаљу, и хоћеш у село?

Са свим је природно што се владика овога чудио. Овака му је молба прва у животу. Обично академци у њега траже најбоља места, свакад највију да буду при саборној цркви, а ако и пристану на коју другу варошку цркву, онда траже да буду настојатељи (старешине).

— Не разумем, деде објасни, објасни! додаде владика врло радознalo загледавши се у Ђирила.

— Хоћу да послужим најмањем брату, човеку простому, „једином од малих ових“ — замишљено одговори Ђирило.

— Врло добро, врло добро! рече владика: — само не знам како си дошао на таку мисао.

— Град мене не мами, приходи ме не вуку, продолжи Ђирило: — мене срце вуче у село, где ми је прошло детињство.

— То је врло лепо! Бог нека те благослови! радосно рече владика: — Ја ћу тебе узети другима за углед! Он се диже, приђе Ђирилу и пољуби га у чело.

— Али коју парохију да ти дам? У мене су само сиромашне нурије, све боље су попуњене. Ти заслужујеш најбољу.

-- Не, не, рећи ће Кирило: — мени то не треба. Мени дајте такву нурију где бих могао само живети с породицом.

— Бог милостиви да те благослови, говораше владика, сав потресен оваким некористољубљем овога младића. У њега се јави жеља да му баш сада учичи каку пријатност, да га чим било одликује.

— Ти имаш брата — Ђакона Назара. Кажи му нека ми дође: хоћу да га запопим, и да му дам лепо место.

Кирило се поклони, а владика настави:

— Пођи с Богом; ожени се, и спремај се за свештенички чин. Нурију ћу ја теби наћи.

Благословивши младића и пољубивши га, он додаде:

— А ипак ми је жао што нећеш бити у нашем граду. Ти би био красан проповедник!... Сећам се како си ти још у семинарији био јак у омилитици, сећам се, сећам се! Брату кажи нека ми дође...

Кирило изиђе од владике пун радости. Највише га је веселило то што му се чинило да старап њега разумева. А мило му је било и оца обрадовати и Назара и сву породицу гласом о владичиној милости. Публика, која је испуњавала владичину чекаоницу, пропусти га с поштовањем; сви су га гледали завидљиво. Сви су знали да је магистрант, и да је добио златну медаљу. Зато су и говорили: „Благоси га љему! Одмах ће добити најбољу парохију у јевпархији.“ Кад Бог да човеку срећу! А како је млад, готово дечко!...

У владичину двору Кирило срете и оца ректора са синовцем. Јевђеније Андрејевић Межов, тако се звао ректоров синовац, бејаше обучен врло свечано. Његов први капут није био државни, него нарочито наручени, стајао му је лепо, и био је од фине чохе. И шешир му је био нов, са широком плавом траком, и с узицом закаченом за пупе од капута.

На рукама прне рукавице, а на ногама лаковане ципеле. Држао се право, и у свему је био прави кицош. За ову прилику он је обријао своје бакенбарде, и намазао своје брчиће. Отац ректор бејаше у првој свиленој мантиji с одликама на прсима, у вамилавци и са штаком у руци. У капији је стајао семинарски екипаж. Видело се да је ректор довоeo свога синовца да га представи владици.

— Ти јси се већ представио? упита Межов у проласку журећи се за својим стрицем.

— Јесам! кратко му одговори Кирило.

— А ја сам дошао са чиком да молим!... Ти знаш, наш је инспектор премештен... Па ја сад молим...

— Зар тако брзо? зачуди се Кирило. То је било тим чудније што се је Межов учио тако да се није могао ни магистарству надати.

— Па шта ћеш? Чика моли... Знаш они мене неће одмах поставити за инспектора, него за заступника. А то је све једно. Плата иде те иде.

— Да, да! расејано одговори Кирило.

— Па и стан бесплатан и чак огрев... Није ружно, а?

— Како ружно?

Ту њима приђе и отац ректор.

— А шта ви са собом мислите Обновљенски? упита он с неким ни учешћем, нити неодобравањем. Кирило није имао воље испољавати се. Ректора никад није волео због његове лукаве, потајне нарави.

— Управо, још не знам!... Ето идем к родитељима, па ћемо се договорити.

— Тако, тако. То и треба. Него хајдемо Јевђеније; ми се задржасмо.

Кирило се поклони и растаде с њима.

„И како лако човек напредује кад навали,“ по-мисли он сетивши се колико је мало дара и спреме у Межова!

III

• Двоколице ћакона Игњата Обновљенскога нису имале пругла; од свакога бусена, оне су одсекале и њихов тресак чуо се је на далеко. Сви њихови делови могли су шкрипати и свак на свој особити начин. Заворањ који је везивао стражњи крај кола с предњим, некако је промукли гудио; широке лотре шкрипале су на свој особити глас. На окретима, а и при обичном коњском ходу, све је на колима зврктало, и тресло се тако да је сва околина познавала још из далека ћаконова кола кад иду.

Већ су пет часова путовали, и свуда их је пратила густа пепељава прашина која, пошто се једном дигне у вис, дуго остаје у ваздуху да се зна да је неко процутовао. Путници су били са свим пепељави од те прашине. Ђакон је дремао повијајући се час на једну час на другу страну, трзајући се и крстећи се кад год би кола на један пут одскочила. Кирило је гледао десно и лево, и сећао се. С обе стране широког, вијугавог пута жутела се раж коју је сунце опалило. Подаље су се видјали бостани. Овде онде опажали су се станови с десетком колиба земуница. Даље су чобани пригонили овце на појила. Свуд је била типина, свака жива сатвар скрила се у хлад, да се заклони од сунчане припеке.

Кирило је с неким тужним чуђењем размишљао како је то све и пре две године било тако исто, као да је он јуче одатле отишао. А тако је то било и пре десет или двадесет година. Све је тако бледо, жалосно, никакве промене, никаквога покрета ни напред ни назад.

— Ето сад ће и наша Устимевка, рече Кирило, показујући очима налево куда ће одмах окренuti put. Устимевка се од једном јави цела, с белом црквом, са жалосним спахиским садом, запуштеним и већ у пола осушеним без кишне и без залевања, с каменитом зградом механском, покривеном пропом, одакле се већ почиње улазити у село, са три

ветрењаче, с гробљем без зеленила, студеним и немилим. На страни је спахиска кућа с проруделим дашчаним кровом, с олињалим и избледелим лепом. Та тако батаљена кућа ничим није напомињала да су ту пре живели људи, са свакојаком згодом и задовољством. У оште је Устимевка место сиромашно, ружно, и ни мало непримамљиво. Човеку се хтело, кад њу види, да одмах измиче даље. Њезине растркане кућице, измешане са земуницама, пуста гувна, и бунари са мало сланом водом, нити су уморна путника могли расхладити, нити развеселити, нити одморити.

— Ето како је јадна и сиромашна наша Устимевка, проговори ђакон, уздахнувши. А у очима Тириловим светљаше се радост.

Сиромаштина то јесте, оци, али спромаштина наша рођена. Не бих ја њу дао ни за каку богатину, рече он, и одиста је осећао иеку радост у грудима. Он је у мислима поредио себе са заробљеником који се враћа у постојбину, и чињаше му се туђа и престоница са својом непрекидном вревом, на коју се он никад није могао навикнути, и државна наука, која га није умела привезати за себе, и све што је остало иза њега, осим једине Муре.

— Оно је тако! рече ђакон, пренувши од дрема, и ударивши коње крајевима од узда. Коњи су, осећајући да је кућа близу, и без тога грабили све брже. Прођоше механу и приђоше ка цркви. Ђакон склоне капу и прекрсти се. — Дођосмо, разговетно рече он, хвала Богу! Ето и цркве. Ето наше кућице. Све у старој седимо. Отац Агатон, настојатељ, већ двадесет година спрема се да озиди црквену кућу, па увек због нечега одгађа... Стешњени смо веома!

Сељаци, идући улицом, видевши њих, или боље рећи чувши шкрицу ђаконових кола, и нехотице су скрдали капе, или умотривши да с ђаконом има и нека нова личност, стали су марљвије загледати, и ко је познао Ћирила, тај му се мило осмехнуо. Једна жена не могаше да се отрип, него, пруживши прст на госта, пунна радости викну:

— Та то је наш Ђира дошао, а?

Ќирило скиде капу, и ниско јој се поклони. Бејаше му врло мило што га овде зову оним истим именом, којим су га звали пре 15 година. Најпосле дођоше ћаконовој кући. То бејаше обична земљана сељачка кућа, само повећа, прозори јој већи, и она сва бејаше чистија од других. Кућа је гледала унутра, а ребрима је била окренута на улицу Капија је била широм отворена — они уђоше. Мале зелене шалоче беху затворене. Троје паса притрчаше коњма, и стадоше се реповима умиљавати, али кад Ћирило скочи с кола, они одмах показаше да га не познају, и почеше сумњиво режати.

— Рђав почетак! рече Ћирило шаљиво: — иси ме не познају!

Бакон не рече ништа, само викну на исе. Он је знао да је у Ћириловој шали пола истине, и да ће скоро бити дирљивих сцена.

Врате се на кући с лупом отворе, и отуда појури сав род Ћирилов. Он пољуби у руку високу једну жену, у које је лице бледо као и у њега, само изрезано борама. Она беше танка и стасита. То лице беше оштре, и готово зловољно. То је била његова мајка. Сестрица Моћа од петнаест година гледаше у њега веселим очима радознalo, и мало збуњено. Семинарист Методије гледаше да се покаже озбиљан и уздржљив. Њему је било 17 година. Ћирилу се учини да му се и он није обрадовао. Стара тетка, Ана Јевремовна, не зnam зашто, плакаше. Сви су се рођаци ѡубили с њим, али некако суво, тек форме ради. Нико није трчао да му искаже своје радости. Методије, не зnam рашта, оде помагати оцу у испрезавају коња, и примети оцу да хам коња убија, и да га треба обавити мекотом.

— Ала те је попала прашина! викну јасним гласом Моћа и, скинувши с њега врскапут, истрча на авлију да га истресе.

— Хајдемо у собу, рече ћаконовица: — што стојимо овде на сунцу. Хоћеш скоро, ти одо?

— Не чекајте ви мене, идите, ја ћу доћи.

Бакон је гајио у срцу наду да ће се питања почети без њега, и да он неће бити онда кад наступи прво разочарање. Ћирило је у собу за мајком,; за њим шљапкајући у потпнећеним ципелама је тетка. Моћа је после, али се одмах склони у близину собу. У углу на троугаоном столићу пред великом бојаричином иконом у златној кошуљи пламуцало је вандиоце. Дугачак један диван, покривен пепељавим платном, бејаше главни украс те „намештене собе,“ у којој су дочекивани гости. Пред њим је био округли сто, покривен белим везеним чаршавом. На њему судић с витом домаћега цвећа. Уз дувар беху поређане столице покривене мушемом и с високим наслонима, стаклени орман за посуђе, и огледало, које се бејаше веома нагло напред својим горњим крајем. Баконовица стаде пристојно насред собе и узе се побожно крстити пред иконом. Иза тога пољуби крст који је био на столићу, и даде га да целива Ћирило и тетку.

— Е, сада седи, Ћирило, и кажи нам: што си ти сада? рече она и сама седе на столицу. Ћирило се намести на дивану. Бејаше се jako збунио. Њему се постави пре свега оно питање, на које је он желео одговорити најпосле. Он ћуташе

— Каак је красник, као уписан! рече, најпосле, тетка, и то је доста стишало. Она више није плачала. Моћа је стајала на праљу и с поноситим осмејком гледала је у брата. Је и Методије, гломазно седе на столицу и запали цигару.

— Еле, ти си свршио академију? Је ли? упита по ново ћаконовица.

— Свршио сам! одговори Ћирило.

— А сада ћеш бити професор, а?

— Не, мамице, нећу бити професор!

— Да шта ћеш? Прота?

— Нећу ни прота!

— Ваљда се нећеш калуђерити? У осталом, није ружно ни владика бити... Само је дуго чекати.

— Ја не желим да се калуђери! Да сам своје очи веже! с тугом рече тетка.

— Нећу се ја ни калуђерити, нити ћу бити владика.

— Е па шта ћеш?

— Хоћу да живим на седу, као сеоски попа...

— Нуто га сад! Сеоски попа може бити сваки семинарист. А што си онда ишао у академију?

— Ради науке, мамице!

— А наука рашта је? Ено оца Шорфирија свештеника из Криве Балке син лане свршио академију. И одмах су му у спрском граду дали прво место.

— Па то бива... А право да кажем, ја још ни сам не знам шта ће бити. А како ми ви живите?

Ћирило је то рекао да би смекшао опоритост своје изјаве. Али већ што би — би. На његова сепитања одговарало преко срца. Семинарист је гледао на њега некако сумњиво, и по свој прилици желео је задати му какво заплетење, али се није могао да усуди. Моћа, у које су се разбиле све наде, са свим се удаљила у суседну собу и села код прозора. И мајка, и она, и семинарист, и тетка, а највише сам ћакон, били су се свикили с мишљу да ће Ћирило бити професор у семинарији, а доцније и ректор. И нико се није могао домислити одкуд сад та чудна промена, и сви су мислили да она долази од некуд с поља. Тетка опет узе плакати. Ћирилу дадоше да поужина. Он, попивши чашицу ракије, рече:

— Алла је красна у вас риба! Какав леп мирис има?

— Из вароши је. У нас се овде нема где ухватити рибе, одговори ћаконовица. И после тога су сви ућутали. И Ћирило је јео ћутећи. Она радост која га је била обузела кад је наступио на земљу села Устимевке, остављаше га, и њено место заузимаше нека непријатност. Није се надао он таком сувом дочеку. Разумео је да је то све дошло од његовога саопштења: шта намерава. Да је он рекао да ће бити професор, или прота, сви би били весели, насмејани и задовољни. Појимао је он и то да је мајка тајила у својој души увреду коју је он учинио целој породици. И што се уздржала, то је само из пристојности

на првом састанку. Али сутра ће груннути гром по тоцима суза и прекора. Жена та, која је у свом животу много урадила, а још више проболовала, била је врло раздражљива и жучна. Доказивати њој у чем је ова ствар, и привести је да његову намеру разуме, Кирило није мислио ни да почине. Без шакава обра зовања, и готово неписмена, она није могла ни појимати таке намере, као што је, на прилику, служити ближњему онако како јеванђеље прописује!

Тетка, убрисавши се од суза, изиђе да види хоће ли већ доћи Ђакон. Ђаконовица оде к Моћи. Кирило је јео рибу по типару, лагано је одсесао режњеве од младога краставца и све је то жватао необично озбиљно. Методије, савишивши другу цигару, и припаливши је од оне прећашње, бејаше страшно задуманио. Заплетено питање спјало му се у очима. Он устаде, приђе ближе прозору и седе.

— Кажи ми, молим те, Кирило, рекне он поверљивим тоном, и страшљиво погледајући на она врата кулаје отишла мајка: — то ваљда није истина?

— Шта управо? упита Кирило.

— Та то... Та ти писи свршио академију? Мора да те је нешто смело?

Кирило се осмехну. Је ли то зато, што ја нећу да будем владика? Не, не, брате, ја сам академију свршио, свршио... А ако не верујеш, ево се увери! Он извади из цепа на четворо савијену дебелу хартију и пружи је брату. Овај развије хартију, погледа на њу, и жустро је баци на сто.

— Е, ја то не разумем; никако не разумем! Ту мора бити нешто друго. Свршио као магистрант! Ево погледајте, мамице, Моћа! Он је прави магистрант, и златну медаљу има. У нас има инспектор, који је и сад само прави студент. Не, тако ми Бога, ја то не разумем.

— То ћу ја теби објаснити после, рече Кирило, и прихвати се сутлије коју је врло радо јео. Ђаконовица и Моћа дођоше и разгледају диплому.

— Ово треба метнути у рам, рече Моћа. Она се сетила да су у настојатеља, оца Агатона, све

дипломе — на свештенство, и на набедреник, и на скуфију (протску камилавку) урамљене и висе о зиду.

— Све смо свршили, само је још то остало! рече ћаконовица уздахнувша. Методије је ходао по соби врло незадовољан, и све једнако је говорио да не разуме. Уће и тетка и узе слатко разгледати диплому.

— Е, јеси ли се мало прихватио? Јеси ли што слатко појео? упита ћакон ушавши у собу. Као човек, који је привикао мерити и удешавати сваки свој корак, он питаљиво загледа у лица свију што беху у соби и појми да је већ све свршено.

— Каја је красна у вас риба! рече Ћирило и радосно погледа у оца, као у јединога човека који појима и одобрава његове намере.

— Из вароши! рече ћакон а у нас је ни у бунарима нема! Ту се ћакон сети да је време развеселити све милим гласом.

— А знаш ли ти, Арина, окрене се к ћаконовици, да је наш Ћирило био у владике, да га је владика пољубио и рекао: „Ти имаш брата Назара ћакона; он је молио да се запопи; него му ти...

И видећи да сви домаћи готово гутају његове речи, ћакон се за тренутак устави, да их мало помучи.

— Или да не причам, а?

— Како не би причао? Шта је рекао владика?

— А желите, је ли? Ето нећу да кажем.

— Ене сад! Ене сад! Па што си и почињао!

У осталом сви су знали да ће ћакон најпосле казати и, управо он је сам то желео више него сви други.

— Ти кажи њему, рекао је владика: — нека дође да га запопим!

— То владика казао?

Опоро и суво лице ћаконовичино зарумени се. Да се Назар запопи — то је била њена жеља нада све жеље. Чак академска каријера Ћирилова није била ништа пред том великим срећом. Шта је Ћирило? То је слободна тица. Одлетеће на други крај света! А Назар је човек везан за своје место, у њега

је пуна кућа деце. Он ће увек бити њојзи на очима. Ружно је што њен млађи син, магистрант, иде на село за свештеника, али каква голема срећа што ће старији њен син, ћакон, постати попа макар и у селу! Методије је весело трљао руке; Мона је скакала у суседној соби, с тога што јој није било пристојно скакати пред Ђирилом; а тета је опет плакала од радости.

— Море, је ли то све истина, упита ћаконовица.

— Иди Бога ти! Зар бих ја лагао у такој ствари?

А баш ако не верујеш мени, питај Ђирила.

— Истина, истина, рече Ђирило: — то је мени владика казао.

— Господе, ала је то лепо!

Сви су били раздрагани, сви су прилазили једно другом и исказивали сваки своју радост; говорили су о том колико ће се обрадовати Назар, па његова жена Луња, како ће се она наместити у нурији, како ће дати старпју кћер у јепархиску школу, за што пређе није стизало новаца...

— Хе, слушај стара! викну умиљавајући се ћакон: — сад ћу ја у покој, у пензију. Већ ми је време. Погле како сам се погурио.

— Куда у покој?

— Онуда, у покој! Даљу молбу, па ћу отићи да живим у сина! Ј шта ћу виш? Методије ће скоро свршити семинарију, а Матрену ће узети у завод бесплатно.

Лице у ћаконовице на један мах поста опоро и оштро.

— То никад неће бити! одсечно рече она.

— А што да не буде? па Назар је врло добар.

— Сви су добри док им се меће у цеп, а кад се поиште из цепа — сви постaju вуци. Знам ја. Волим ти ићи у надницу, него ма кому пасти на врат.

Ђирило гледаше у бледо лице своје мајке, и мишљаше о том колико је живот њен био горак кад је она тако јетка. Он то никад пре није опажао.

— Хе, хе, ти већ претера! добродушно рече ћакон и махну руком ка жени: — ти свакад тако.

На људе се љути, не верује ником, па чак се и својој рођеној деци не поверава.

— И не поверавам се! одсечно потврди ћаконовица.

— Ја и теби кажем да ником не верујеш! А виш ја свима верујем. Сваком створу Божијем ја верујем. Онако хришћански.

— Зато те сваки и претиче.

— Нека претиче. Он претиче, а ја стојим на месту. Баш као стогодишњи храст. Мини га милион пута, а он стоји без икаке повреде. Ето видиш!

Тај мали сукоб на скоро се изравна. Ђакон није наваљивао да тражи „покој.“ Свега свога века он је уступао пред Арином Јевстањевном, како јој сада не би дао за право? Опет су почели говорити о владичиној милости и опет су се сви раздрагали. До мрака је већ смишљен план како ће се то и Назару јавити. Назар је био ђакон у селу Чакмарима тридесет врста од Устимевке. Други дан рано упрегну коњиће у таљиге. Кирило и Методије извезоше се из авлије и упутише се широким друмом у Чакмаре. Сунце тек што бејаше изгрејало. Над пољем се лељала јутрења хладовина. Кирило је осећао како је необично лак и крепак. Говорио је брату како му је добро у селу, и како он не би да села ни за какву престоништу.

— А шта је у селу тако лепо? Нити има људи, нити какве забаве. Да пркнеш од самоће и од досаде, одговори му Методије. У опште, брате, ја тебе не разумем.

— Да је ко мени ово рекао, кад сам био твојих година, и ја њега не бих разумео! одговори Кирило: — И ја сам онда, као ти сада, теглио к великом граду; мени се чинило да је само онамо живот, а овде само сан и животарење. Данас ја мислим другаче. Живот је само овде. Овде људи живе како се живи, а онамо само плету велики низ некаких угодаба. Тамо је све на погодби: и пристојност, и поштовање, и честитост, и памет, и осећање. За све

има утврђен типар, законик, и тамо је човок роб тога законика. Тамо човек може живети само за себе, а овде може по нешто и ближњему својему уделити. Узми, на прилику, само ово: у граду је живот скуп. Да би човек могао пристојно живети, треба сву своју снагу да напрегне да стече новаца. Човеку не остаје ни времена, ни снаге да буде човек. А овде је живот јевтин. Времена доста — ради колико год хоћеш. Овде — и само овде — ти си господар свога времена, своје снаге, и своје подобности. Само овде се ти савсвцит можеш одати на службу својему ближњему!..

— Молим те, кажи ми, јесу ли то теби предавали у академији? упита Методије, који се само чудио шта му брат говори.

— Шта?

— Та то све што си мени говорио.

— Не, што ће ми то предавати у академији; то сваки може појмити и сам...

У Чакмаре стигоше у дванаест. Назар их дочека радосно. Загрли Ђирила и својски се пољуби с њим. Он је опазио с тугом да је Ђирило јако похуђао.

— За то си ти све дебљи! Време би било да станеш! рече Ђирило. Назар махну руком, као човек који се не нада. То је била његова несрћа. Он је био толико дебео, да је кадикад и самом себи био тежак. Шта није радио, па ништа. И ходао је, и не спава после ручка, и купа се, чини све што му ко каже. Неко му је казао да јаки чај мршави човека. Он навали пити јак чај и дању и ноћу. Казаше му да пије оцат — он остави чај, и дочека оцат. Једно само није могао никако творити — није могао умерено јести. Апетит је у њега био страшан, а простирини желудац могао је сместити у се што би било доста за петорицу. И одиста је јео за петорицу, и још је пио не по једну чашу лепе ракије. Назар је био прешао четрдесет година; имао је седморо деце, а жена његова Лукерија Игњатијевна, коју су од мишљите звали Луња, даваше наду да ће их још толико одњихати. Та мила, танацка, хитра, и увек весела

женица бејаше са свим супротна мужу Назару, коме су се ноге само кретале а тело га је вукло увек на седало. Може се рећи да је баш жена глава у кући. Назар је свето вршио све ћаконске дужности, и то само зато што и њих није могао предати Луњи, да их она врши. Ни у што друго оп се, по својој гломазности, није мешао, а Луња је врло лепо управљала кућом и педагогијом, и чак је сама и просфоре пекла за цркву. Све је она могла да доспе, и никад се није жалила ни да је уморна, нити да има много послана. Она је живела од рада. Назар је обожавао своју жену, и био је управо заљубљен у њу држећи да је она лепотица не гледајући на неколике боре на њеном лицу, нити на по коју седу у коси.

Методије отрча у обор где се Луња мучила с једним телетом, и јави јој радосни глас. Она остави теле, и сва потресена потрча к мужу. Ту се притвори жалосна и одшали оваку шалу:

— А знаш ли Назаре, да је Кирило био у владике, и владика је рекао да, твој брат Назар, треба да иде у покој!

— Боже благи! са страхом викне Назар, и чак се прекрсти. Зашто то сада?

— С тога, вели, што је сувише пун, па не може служити. Али видећи у колику је невољу та шала бацала лаковернога Назара, Луња се закикоће и каже му све што је и како је. Назар је, наравно, дошао у неописану радост, и готов је био скочити од радости — само кад би могао. Одмах је узео мислити о бољицима који морају доћи у његову живљењу, — о пространијем стану, о давању кћери на науку, о васпитавању повеће деце, и најпосле најглавнија и најватренија његова жеља бејаше: да добије допуст, да оде у Кијево или у Харков, те да се онамо код најбољега лекара полечи од дебљине — све се то могло навршити у један мах захваљујући једној владичанској речи.

Браћа ручaju заједно, па после ручка младићи се врате натраг у Устимевку. Мoћа је истрчала њима у

сретање, и, севши у кола, док су ишла око цркве, испричала им је што је било дома. Арина Јевстањевна сву драгу ноћ није заспала. У души њеној борила су се два осећања: радост што ће Назар бити попа, и туга што ће се Кирило — не знам рашта — тако самовољно понизити. Устало је с главобољом и са живцима растројеним. Бакон је то одмах опазио, и још изјутра говорио је да се мора видети с оцем настојатељем. Али се она била навезала њему тако, да се није могао одвојити. С почетка су били само уздаси и прекори оштега значаја. „У људи све иде људски,“ говорила је ћаконовица: — деца кад порасту долазе до разума. У некога син једва, једва сврши семинарију, па тамо-амо, кад погледаш — а он се наместио у граду!“ И сад долазе примери: владичинога ипођакона син, свршио је с трећом класом, и добио место у вароши код цркве у гробљу. Чакмарскога попа два сина — оба су изишла из четвртог разреда — и ништа, они су оба попови. А у њих, у Обновљенских, није ништа као у људи: син је удивљавао све својим напретком у науци, свршио је академију као први и иде у село да труне! Сви ће пружати прсте на њих:

— Ето како сте ви јадни и чемерни, ни академија вам није помогла, и кад сте први — није вам вајде! А отац, у место да сина поучи, да га изведе на пут, још га хвали, још му се удвара. Није друго — мене каштигује Бог за некаке грехе!

Сад су бљунуле сузе, за којима је дошло јецање и вукање. И тетка је плакала, али тихо, сакривши се у саражану. Свршило се тако да је Арина Јевстањевна легла у постелју. Кирило кад дође, уђе к њој у собу, и пољуби је у руку, она га сусрете прекором:

— Ево до чега су ме довела деца! Падох у постелју!... И сад је опет осула плакати. Кирило седне на кревет, узме је за руку, и почне говорити тихим, милосним гласом:

— Мамице, ви сте слаби, не можете ме мирно саслушати, а ја бих вам све објаснио.

— Шта ћеш ми ти објаснити? Шта ми ти можеш објаснити? дрекне Арина Јевстаћевна.

— Могу објаснити своју намеру, мамице! Вама је жао што сам ја одбио боља места, и идем у село да будем свештеник. А размислите, мамице. Ја и ви били смо сиротиња свега века, ви сте се свега века свога мучили, и мука вас је заморила и осушила. Сиромаштина и труд, мамице, наше је све наследство; то су као каки наши рођаци. Што је год спромашно, и што се труди, то је наше. Е па и ја хоћу да послужим својој својти. Нећу да служим богаташима, него хоћу да послужим сиромасима. Хоћу да живим онако како сте живели ви. За тај ваш трудни живот ја вас дубоко уважавам. И хоћу и ја сам баш тим да заслужим уважење. Тому сам се ја од вас научио. Ви сте својим примером бацали у моју душу семена, а ја сам их само загрејао те су никла.

Тешко је казати шта је порадило на ђаконовицу. Њеној горкој души тешко да су се могли примаћи ти докази. Него умиљати синовьи глас, његов мили поглед, топлота руке његове којом је нежно стискивао материну руку порадили су те се она стишла. С лица њенога је нестало онога израза злости и очајања; она тихо привуче Ђирила к себи и пољуби га у главу.

— Ах, мој Ђирило! рекне она тихим гласом: — а колико смо се ми на тебе надали? Колико смо се надали! Мислили смо да ће се сав наш род повишити, а ти, где, шта учини.

Али све то изговори она мирним и помирљивим гласом.

— Биће и повишења! Почекајте! Дајте најпре мени да учиним што ми срце жуди. Све ће бити, мамице; све, све!

Ђирило је поседео код ње једно пола сата. Ђакон, који је из суседне собе слушао њихов разговор, чудио се како син његов уме да разгови буре, што он није могао свега свога века научити, не гледајући на своју потпуну покорност Арини Јевстаћевној. Наскоро и ђаконовица устаде из постеље, и при-

хвати се својих обичних послова. И тих разговора није више изазивала.

Идући у град, уврати се књима и Назар. Њега ту свечано благослове. Арина Јевстаћевна све каже шта и како да ради на путу, онако као каком малом детету. Добројудни Назар све је то слушао покорно и озбиљно се старао да све изврши. А он је одиста и био дете и, кренувши се на пут с тако важном намером без Луње, осећао је да се земља под њим угиба. Ствар је стајала тако да, ако владика не промени своје милостиве одлуке, Назар ће морати пробавити у граду, у каквој гостионици, најмање недељу дана, а то је за њега било много, веома много...

Друга два дана по његову одласку, у кући устиневскога ђакона беху пуни неспокојнога чекања. Само је Кирило био миран; он је знао да је владика дао реч озбиљно, и да неће порећи што је рекао. Страшљиви ђакон није смео да верује толикој срећи, док је баш не би видео очима. Арина Јевстаћевна, у чијој је душама дубоко била засела неверица, уверавала је да се само злу треба надати: оно увек долази незвано а добро се може мало и очекнути. Толико се пута човеку чини да мора бити добро, а кад тамо а оно излази зло нада сва зла! Али кад прођоше два дана, онда се неће могао склапати овакав силогизам: кад Назару не би било позгледа на успех, он би се већ вратио из града. А пошто се он толико задржава, биће да се спрема за чин.

— Е, можда су њега послали на јелитимију; за то га нема! примети ипак Арина Јевстаћевна, премда се и она у души випше приказањала к мишљењу оних других.

Дође недеља. Ђакон обуче чистију мантију, на маза и очешља своју косу и у опште намести се као за празник.

— Зацело њега данас владика попи! с неком радиошћу понављао је он, и одслужио је тај дан у цркви свечаније него други пут службу Божију, изговарајући сваку реч разговетно и управо певајући. И што даље то је све више бивао потресен. Дошаоши

из цркве кући, он, против свога обичаја, не хте по-пiti чашу ракије, нити окусити сухе рибе с младим луком. Ни ручати није могао — само од потреса! Вечити ћакон, он је свештенички чин сматрао као идејал који мало који самртник може достићи. И гле његов Назар, који је, чинило му се, као и он био осуђен на вечно ћаконство, данас се пење на тај високи ступањ у животу. Веома је потресена била и Арина Јевстајевна, али је крила своје осећање, и притворно говорила, да не верује.

Најпосле, пред вече, дође и Назар. Он уђе у собу свечано и весело, и уставивши се на вратима, пажљиво и побожно прекрсти се, поклони се иконама, а за тим окренувши се породици која сва сећаше за чајем, ћутећи благослови и њу. Сви видеше да је свршено, сви усташе и стадоше се крестити. Радост је била тако велика, да су у први мах сви ћутали. Иза тога сви редом приђу новом попи и једно за другим приме од њега благослов. После узеше питати Назара, како је то било. Он је причао све до најмањих ситница, а кад дође до своје прве посете коју је учинио владици, он се обрте Тирилу и рече:

— А да знаш што тебе хвали владика! „Он је, рече ми за тебе: — углед целој јепархији! И само за његову ону хришћанску смрност ја сам тебе произвео за свештеника.“ Заповедио ми је да ти кажем да ти је красно место спремио, него да се побрже жениш, и да идеши к њему.

Сва породица, осем оца, више је бленула него гледала у Тирила.

Назар преноћи у Устимевки. Тирило други дан оде у град.

IV

Оне две недеље, што Тирило проведе у граду, беху му права мука. Он је молио и оца Гаврила, и попадију, и Муру, да свадба буде проста, али га нису послушали.

— Много ти тражиш! говорила је попадија: — Теби је учињено све по вољи, све, све! А ово, богме, не може. Ово пе дам ја.

И попадија је уздисала оном што је учињено Кирилу за хатар. Мура је говорила, да она јако жели, да јој свадба буде лепа, и да свадбено вече буде са сјајем од свећа, и са вревом од сватова. Она отворено призна пред Кирилом да је о том давно и давно мислила. Отац Гаврило је рекао да то тражи његово место у граду. Таким наводима није било могућности да се човек одупре.

И ено други бој црквене куће сав се сија од свећа. У цркви је запаљен и главни полиједеј, певали су владичини певци, а апостол је читao громовни бас, који је при цркви прекобројан, и који се спрема за протођакона. Сав цвет духовне омладине у граду, све кћери, које чекају младожење у лицу академаца, са дебелим мамицама, професори семинарије, свештеници, и чак неколико семинариста из старијих разреда, све је то било у цркви, па из цркве прешло у црквену кућу и ту се веселило до зоре. Мура је била весела, живахна и мила у свом белом као снег оделу с венцем од цвећа на глави. Кирило је био мало крут у фраку, али је то њему личило као академцу у кога се претпоставало много збиље и много учености. Од рода му на свадби беху само Методије и Моћа. Стари родитељи, бојећи се сјаја, рекоше:

— Куда ћемо ми тамо? И останше дома. Луња није могла оставити деце, а Назар је само показао своју дебљину као сметњу. Поред тога, он се баш тада пресељавао на своју нурију у село Гурјево, где је био постављен за настојатеља.

Два дана после свадбе, Кирило се јави владици.

— А — а! весело га прими владика: — знам, знам! Отац Гаврило ми је причао. Добру си девојку узео. Мило ми је. А ја сам ти спремио место. То није далеко од твога рода. Место *Лугово*, знаш ли?

— Место *Лугово*?

— Зар ти није по вољи?

— Онде има два свештеника, ваше преосвештенство!

— Да, и ти ћеш бити настојатељ (старешина).

— Мене је тога страх. Да ли ћемо се сложити?

— Зар ти, с том голубијом смерношћу? Не, не, већ не говори ништа. Ја сам тако решио, тако и нека буде. Ипак у Луговом има и пазар, и школа, и пошта. Није баш за Божјим леђима... Спремај се! У петак је празник. Ми ћемо те зајаконити, а у недељу узвести на ступањ свештенства. Пођи с Богом!

Тирило више не рече ни речи. Ни најмање му није било мило што иде у Лугово. То је место готово као нека паланчица. Врло је велико, и има много парохијана. То га није плашило. Али тамо он неће бити сам. Сви његови планови наилазиће на супротност његовог друга. А у њему нађи помагача није се могао надати. Изродиће се неслога, свађе, подметања, све оно од чега се он највише бојао. Али се одуширати још на првом кораку владици, који је тако много урадио њега ради, није се усудио. Он рекне у себи: „Нека буде што ће бити. Ма шта било, ја ћу се држати свога правца. Ништа ме неће скренути с обележена пута, нити од живота како сам научмио. Ко зна, може бити да ће то баш бити на боље, него што се чини.

Од тога доба већ је почeo осећати неко редовно колебање. Оно што се теоријом сложило у његовој глави, почело је већ да се остварује. Приближавала се практика за коју је требало бити спреман. Некад би он сео поред Муре, узео би је за руку и говорио би:

— Моја Муро, ала ме је страх! Задатак је голем, да ли ћу имати доста снаге?

Мура ни мало није појимала у чем је управо тај „задатак.“ Али је и њу било страх што он тако говори. Међу тим сумња је пролазила; он је гонио из главе мрачне мисли и говорио, да је то само расположење, и да он нема узрока сумњати о својој снази.

— Ја и ти смо, Муро, тако млади!... Кад останмо, онда ћемо сумњати.

Мура је и то потврђивала. Она је била само његов одјек. Она је у њему љубила свога мужа — младога, разумнога, милога, и срдачнога; држала га је за врло развијена и чак учена човека, а мисли његове за тако високе да их она није ни докучити могла.

У петак дође Тирило кући у мантији. Мура, видећи га у том оделу, умало није пала у несвест, а кад се повратила, отпочела је плакати.

— Рашта плачеш? питаше је Тирило, старајући се утешити је миловањем, али то не помаже. Она је била навикла гледати га и волети у капуту, у облику обичнога младића; она је налазила да је он стасит и окретан. А сад је све то ишчезло под широком и дугачком мантијом, под оделом које разгони све мисли о љубави, о роману. По теорији она је допуштала да Тирило обуче мантију, али кад се то свршило, и кад је он стао пред њу већ посвећен, без икакве наје да ту мантију кадгод може скинути, и обући се као обични млад човек, како га је она заводела, када је већ све било за свакад свршено — њено срце згрчипло, и она није имала снаге уздржати се од плача.

— Ох, моја Муро, моја Муро! Па ја сам онај исти! Нисам се изменио тиме што сам обукао мантију!

— Какав си сад страшан, ружан, смешан! рече Мура! већ смешећи се кроза сузе. — Он погледа на себе у огледалу, па се и сам насмеја. Одиста је био необичан. Коса кратка, тек синоћ „последњи пут“ испицана; мали брчићи, са свим младићско лице, танак струк, све је то чинило да човек помисли да је он само шале ради обукао мантију — то одело је забиљних пастира, које тражи и браду, и дугу косу, и солидан склон тела. Али то није било шале ради, и Мура је то знала. Зато је и плакала.

Ташта се поздрави с њим, честита му, и пекако преко ока погледа на његово ново одело. Она је била

увређена у најбољим својим осећањима. Тајна је жеља већине попадија — упутити своју децу у цивилне службе. Она је и рачунала да ће њен зет, који је тако сјајно свршио академију, бити инспектор у семинарији, или и професор у којој академији, и тек после четрдесете обући мантију те правце постати прота у којој катедралној цркви. Али пошто је то једном допустила — сад је морала сносити. Зато му је само сувонарно честитала, а не рекла ни једне окорне речи. Отац Гаврило који је служио кад је Кирило посвећен, био је са свим миран. Он је знао да владика одобрава Кирилу поступак, и он је у себи полагао велику наду на ту околност. Досадиће се Кирилу село, ове бубе изићи ће му из главе, и тада ће њему преосвећени одмах дати најбоље место у ком граду.

У недељу Кирило би рукоположен за свештеника. Много је промишљао и промислио он за оно неколико минута, докле је владика, по реду црквеним, метнуо на њега то достојанство. Ето дође и тај часак када је он формално и пред лицем свега народа везао себе везама дужности, без извршења које је он находио да живот нема никаква интереса и да се не зна рашта је. У тај трен ока он осети неко уважење према себи, према својој доследности, према свом карактеру. Он је познавао много људи, који су говорили о великој својој дужности која им је пала на рамена, али у којих није било одлучности да пређу од речи к послу. И свега века свога они говоре о тој својој дужности, али се не мичу даље од тих речи. Он је те људе прошао, обележпо је куда ће, и баш данас ступио је тврdom ногом путем, који ће га одвести ка мети. Нити се је он поносио, нити је кога кривио, Боже сачувај — него у тај свечани часак није могао бити без осећања, није могао не похвалити сам себе за чврстину срца, за чврстину духа свога.

Марија Гавrilовна бејаше у цркви. Њено срце потресено куцаше, кад се над Кирилом сврши обред. Чинило јој се да се тај обред, оконо на оконо, и над

њом свршава, и кад су Ђирила облачили у свештеничку ризу, она је у памети рекла себи: „И ја сам од овога часа попадија!“ Тек за та три дана, она се навикла на Ђирилово одело, и помирила се с новим положајем. После службе, Ђирило јој рече некако свечано и озбиљно: — Од сада, Муро, почиње се прави живот! До сада смо се ми само спремали!

И цео дан тај његово расположење беаше некако узвишен; очи су му сијале неким чудним сјајем, није друго него као да га је обред, који је над њим извршен у цркви, са свим препородио. Мура се бојала те промене, која је неким незнаним путовима удаљавала Ђирила од ње. Некад би се он учинио да јој је туђ; он је свештеник са прибраним оштрим погледом, који говори као што говори прововедник. Зар је то онај мили, онај срдачни, онај близки јој Ђирило, кога је она толико замиловала? И у таке часе бивало јој је тешко; будућност јој се представљала мутна, незнана, хладна. Али је то бивало само за тренутак, па је пролазило, и она је ипак бивала весела као и пре.

Наста пробна недеља. Ђирило је сваки дан служио у владичанској цркви. Долазећи кући, био је обично раздражених живаца, и показивао се веома нестрпљив.

— Да ми је што пре да одем на своје место! говорио би он по неколико пута на дан: — о како се дуго протежу те припреме!

— Е то не разумем; то никако не разумем, одговарала би му на то ташта: — рашта тако хитати? Биће вам доста онамо у самоћи! О, Боже, ала ће вам се додијати!

— Да ми је се само дочепати посла, да ми је да се заријем у њега и главом, и душом, и телом: да ми је сав да утонем у рад, говорио би у неком заносу Ђирило не знајући ни ком говори пити у кога гледа.

Попадија би на то избуњила очи, слегла би раченима и изашла из собе. „Аја! ми смо погрешили

што смо дали Марију за њега. Ништа од њега не може бити! Говори као манит... Као да нема четврте даске у глави.“... Али Мури она није казивала тих својих мисли.

Чим се сврши пробна седница, у недељу после службе, Ђирило навали да иде. Мура је била готова. Целу недељу он је је подсећао; она је сложила свој мираз у сандуке. Дође и ћакон из Усти-мевке. Он узе на се да погоди кола која ће натоварити све покућство и испратити до у само Лугово; а Ђирило с Муром поћи ће на поштанским колима дан доцније, када ће онамо све бити намештено. У понедељак рано, ћакон, помоливши се свесрдно Богу, крене се на пут, а Ђирило оде владици да узме опроштај и благослов.

Владика га прими у угасито зеленој мантији, с камилавком, и с дугачким бројаницама. Био се спремио да изиђе. Ђирило се малко зачуди, опазивши неку малу оштрину са владичине стране. Није се смејао, нити се шалио, него се држао у опште као старешина. Ђирило то објасни овако: Сад сам ја свештеник, у мантиji, и владика ми показује да је мој старешина. И раније је он опажао да се владике обраћају простије и блаже с људма у грађанском оделу. Владика је с њим говорио стојећи, а пређе га је нудио да седне, и седео је и сам.

— Ти полазиш на дужност? упита га он, бројећи бројанице обема рукама.

— Мислим сутра да пођем, одговори Ђирило.

— Дакле ниси се предомислио, него баш хоћеш да одржиш своје?

— Нисам се предомисиљао.

— Знаш, ја бих ти могао овде дати добро место при трговачкој цркви.

— Хвала вам! Ја хоћу у село!

Владика се напршти и добро му се загледа у очи.

— Ти баш хоћеш то, и ништа друго? оштро га упита. Ђирила изненади то питање, и та измена у тону.

— Да, ја то желим, ваше преосвештенство!

— Запамти међу тим, оштро и учитељски рече владика: — да твој нови чин не трип никава умољања. Ти мораш бити пастир својим овцама, ништа више....

— И добар пастир, ваше преосвештенство!

— Да богме, добар, прекиде га владика: — а да ти не мислиш да други пастири нису добри? Није лепо почињати службју с таким охолим мислима.

То је било веома чудно, и свака је реч владичина била за Ђирила све мање разумљива. Откуда је то? Ко му је улио у главу то неповеренje?

— Слушај сине! рече владика мало одмекнувши: — ти си мени загонетка. Једно је од овога двога: или си ти добра и чиста душа, или је у тебе ушао сотона за буну?

— За буну? викну Ђирило. — Ви пре нисте тако мислици, ваше преосвештенство?

На владичину лицу могла се опазити мала забуна. Чинило се да је њега и самога стид што је метио на муке са свим права человека. Он се осмехну, дигне руку и потапша Ђирила по рамену.

— Не, ја знам да је у тебе душа чиста! меко и пријатељски рече он: — али ипак пази! Мени је познато, да си ти, док си био у академији, познавао се и са многозналицама. Ја уважавам људе од знања, али светске мисли не подударају се са свештеничким чишом. Служи мањему брату, једином од ових малих, то је красна мисао, а удаљавај се од сваке претераности. А и смотрен буди, јер ће твоју добру мисао мало њих разумети, а они што не разумевају могу у сваком добру наћи зло. Смотрен буди! То ти је моја очинска препорука.

Он с живим осећањем благослови Ђирила, и чак га пољуби и, испраћајући га, додаде: уздај се!

Ђирило је пзашао од њега у великој забуни. На сваки начин неко је с владиком говорио о њему. Али ко је тај неко, који се види да је знао и његов живот у академији. Ко то може бити?

Узме кола и повезе се у црквену кућу. Пред самим вратима, кад је већ био сишао с кола, испаде пред њега млади Межов, који дотрча и одмах каза:

— Поставили су ме, драги брате, наравно најпре да само отпраљам дужност, а доцније ће и утврдити.

Кирило се сети да говори о инспекторству. Межов погледа у њега, и настави: — А ти си се већ запопио? Што тако брзо? Право да ти кажем, ја то у тебе никако не разумем.

— Е па што да ти радим ја, кад ти не разумеш?² журно рече Кирило.

— То јест, како да кажем... Ја разумем... Село... зближење с народом и друго... Тек све је то, опрости ми... лудорија!...

— У здрављу! Морам се журити! прекиде га Кирило и оде. Није он миловао разговарати с тим господином. Ма о чем да почну, излазило је да им се мисли не слажу. Уз то је Межов био брњив, и радо је своје мисли одевао у крупне и дуге реченице.

„Овај ти је надробио чики — ректору, а чика — ректор све испричао владици са потребним додацима и објашњењима, ето откуда је све,“ — помисли у себи Кирило, и тада му одиста поста све јасно.

V

У среду, око два сата, поштанска кола, окружена густим облаком прашине, кроз коју је пробијајао јек поштанскога звонца, уђоше у метев места Лугова. Чим се погледа, одмах се може домислити да је то село по неком неспоразуму погло постстати паланчица. Шо некаком са свим случајном обележју, људи су помислили да је то место удесно и да ће напредувати, па навалили градити кућу до куће. А може бити да је пре туда и дерao велики трговачки пут, који је прибрао људе овде; а доцније, кад су се

отворили нови, бољи путови, место је ово остало на страни.

Лугово је било растркано без икаква реда, и заузимало је велику просторију. Куће су биле ниске, покривене старим, већ поцрнелим кровом, и то су биле куће прећашњих газда, који су некад нешто имали. Те су куће гледале на главну улицу, близу узане речице, дуж које је растао шипраг, и коју је ивично густ ред рогоза и трске. На тој улици била је и црква, мала и ниска, с једним, зеленим кубетом, а без звонаре. Звона су висила о гредама. Даље су у обе стране ишли узане уличице, поднизане већином земуницама са земљаним покривачима на којима је по вољи растао бурјан и репуштина. Из тога се јасно видело да се новији нараштаји одликују већ јавном сиромаштином, и селе се правце у земунице!

Баш на уласку у Лугово, с десне стране, пружао се велики сад, веома запуштен, с мноштвом сувих дрвета, зарастао у висок коров и свакојаки шиб и павит. У том је саду спахиска кућа, четвртаста, с црним и већ пропалим дрвеним кровом. Кућа није велика, и колико се могло с поља опазити није ни уређена како треба.

Поштанска кола упутише се ка цркви и уставише се пред чистом зиданом кућом са зеленим кровом. Кућа је била до саме црквене ограде. Пред кућом стајаше и весело се осмејкиваше устимевски ћакон. Он је био задовољан и весео, јер је стан у црквеној кући био удесан, пристојан, и простран.

— Само су људи овде сви дроњави! Све некаки голаји! Сумњам да овде може бити добра прихода! рече ћакон, кад млади домаћини уђоше у кућу, и скидаше са себе веома упрашене горње хаљине. У осталом он исприча и понешто добро. Он је већ походио свештеника. Отац Родион Манускриптов већ је петнаест година у Лугову и, разуме се, знао је какви су овде приходи. С почетка је он примио ћакона суво.

— Ко сте ви? Ја вас не познајем. Ваш син — још младић а већ је скочио за настојатеља? А ја се овде мучим петнаест година!...

Али ћакон каже да се Кирило није искао за настојатеља, него је то било зато, што је он први магистрант академије.

— Магистрант?! Тако ли је то? Е онда је друга ствар.

Реч „магистрант“ пред очима оца Родиона Манускриптора била је чаробна. Она је свом носиоцу давала право на првенство у сваком погледу. Он је сам до чина свештеничког дошао испод жита, дугим мољакањем, јер ни семинарије није свршио. Добивши тако значајно објашњење, он отвори своју душу устимевском ћакону и исповеди му да су приходи овде добри ако човек уме. Народ је го, то је истина, али има десетак кућа богатих; осем тога недељом долазе са становима или појата сељаци. То су вам таки људи, ако им данас дате чашу ракије, или чашу чаја, они ће вам друге недеље довући читаво око жита из амбара.

— Ми највише и живимо од тих појатара, додаде отац Родион. А за право Лугово може се рећи: „велики глас а мала част!“ Од њега је мало вајде. Људи су сиромаси, а при том груби. Три су механе овде, и све три су пуне, а црква је свакога празника све празнјча. И спахиница има овде, али је то неко чудно чељаде. У цркву не долази, и у опште не мари за попове... Теке свакојако... може се живети.

Све то ћакон исприча Кирилу, и још додаде од своје стране:

— Ти се договори с оцем Родионом. Спахиницу походи! Можда ће она према твојој учености бити пажљива. Свакојако биће ти од помоћи.

Сад се он пожури, нали се чаја, и оде у Устимевку рекавши: Срдиће се отац настојатељ што сам тако дуго остало.

Уморан од пута, Кирило тај дан не хте ништа ни отпочињати. Само је помагао Мури да ствари у

собама намести. Дан бејаше врућ, августовски. Они отворише прозоре који гледе у малу баштицу у којој се беху расцветале георгине и друго цвеће које је садио који од њихових претходника. Кроз прозоре су се могле да виде сељачке куће и уза њих гумна, где су мрдали сељаци, опажала се у ваздуху млатила, и чули се звуци од њихових удараца — млатили су жито. Јене су одбирале сламу и згртале жито у гомилу. Мура је гледала све то као какво дете. Први пут у веку видела је како се жито сређује. Та луна разбудила је у ње непојамни немир. Мисао да је она овде домаћица, у туђем месту, с непознатим људма и обичајима, није могла да се одомаћи у њеној глави. Њој се чинило да је она овде само путница, и да је ово што види тек једна ређа путна епизода.

Сунце беше нагло на мале заранке. Они сеђаху у спаваћој соби пред отвореним прозором, и одмараху се од дневнога умора. Њима се учини да у предњој соби, коју су они наменили за чекаоницу, шкрипнуше врати, и да је нешто запуштало. Марија се Гавриловна трже, устаде, и погледа на врата.

— Добар вече „Матушка!“ рече, улазећи, једна жена и ниско се поклони. То беше жена не висока, снажна, и с испуничастим напред трухом. Лице јој беше црвено као да је цео дан пиљила у ћатру; на том лицу јој је све било крупно, и као нарсчито чврсто начињено. Густе црне веће, спојене у једну пругу, дебео, прћаст нос, с изрезаним широким ноздрвама, уста широка, с дебелим уснама малинске боје, масивна четвртаста брада, и кратак дебео врат. На глави је имала угасито пепељаву свилену мараму, два пута обавијену око врата, не гледајући што је топло и већ запара. Кошуља јој је бела, али запрљана, а сукња од цица јако поткепцана, што је тој смешној слици давало изглед неке раднице.

— А шта сте ви ради? збуњено упита Марија Гавриловна. Чудно јој се чинило то што се улази у туђу кућу без позива, и без пријаве. Она је знала да тако раде само просјаци и сумњиви људи.

— Добро нам дошли! рече жена и опет се поклони ниско као и пре. Глас у ње бејаше мушки и јаки. Она настави: — можда треба да што помогнем?

Мура гледаше у њу сумњиво, и ништа јој не одговори. Изиђе Кирило.

— Ко си ти? упита он.

Жена се и њему поклони:

— Добар вече и вама, оче! Ја сам жена одавде; име ми је Текла а презиме Чапуриха. Сама сам удовица. Земуници ми је ту близу. Послуживала сам све свештенике. Служила сам код покојног оца Партинија, а служила сам и код оца Манојла који је пред вама овде био. Па и вас ћу служити, ако треба.

— Па што? рече Кирило, обрнувши се к Мури: — нека нас служи! Ми немамо никога.

Мура га позва у спаваћу собу, и упита:

— Да то није опасно? Можда љона има какву злу намеру?

Кирило се насмеја. Кака у ње може бити зла намера? Погледај је у лице, па ћеш видети да у њеној глави нема ни злих мисли нити рђавих намера.

— Лепо, Текла, примамо те! Слушај нас, и неће ти од нас бити криво.

— А како би мени и могло бити криво од вас? Та мени, сироти удовици, много и не треба.

И Текла отпоче „служити.“ То бејаше прва узица која веза овај пар младих људи с пародом у Лугову. Текла је служила честито, бар у прво време. Она се журила, лупала у кујни карлицама и судима, размештала је све по угловима и зидовима, рибала је латосе, брисала прах, и у опште заслуживала да јој Марија Гавриловна рече хвала! Кад се смркало она рече да ће да иде да ноћи у својој земуници. Мура јој даде полутак, ком се Текла неописало обрадова. Она ћепа обе руке младе попадије, и стаде их тако цмакати да се весела млада јако збуни. Изашавши на улицу она, с узнемиреним срцем, и главом пуном новина, за тренутак стаде да се размисли:

куда да иде. Кућа својој срце је није вукло: тамо нема никде никога, те ни пред ким нема причати својих новина. Требало је наћи место где би било вишега жена, и куда би суседе, дознавши да је она већ била у новога попе, могле доћи. Речју — она је желела многобројне слушаоце, и најпосле, смисли да иде ка црквењаку, у чијој је кући било мноштво жена. И оде онамо.

На скоро по одласку Теклином, врата на че-каоници шкрипнуше, и чуше се кораци од тешких цокула. То је био црквени чувар. Он је хтео да се јави новом настојатељу, и да каже да му је име Ђирило.

— А вас, оче, како заповедате величати?

— И мени је име Ђирило! одговори отац попа.

— Где то је добро! Лакше је запамтити! Већ своје крштено име човек никад неће заборавити! рече црквени стражар, као какав философ, па додаде: — немојте се плашити какве опасности. Ја спавам на црквеним стубама, а кад се пробудим одмах у велико звоно звоним. А може бити је вама по вољи наредити да не звоним? Да се млада ма-тушка-пошадија не би узнемиривала од мога звона?

Ђирило му рече да звони по пређашњем. Наста-ноћ. Мура, уморна од путовања, од намештања ствари, и од нових утисака, заспа чим се спусти у постељу. А Ђирило не могаше заспрати. Данас је он још свој човек, који стварно ничим није везан за нови живот који га чека, а сутра ће се почети његова служба. Он је и нехотице у својој памети омеравао своју спремност за ту службу. Он још није знао шта ће управо њему живот донети, и у каквим ће облицима он изразити своје утешање на живот. Примера није имао пред очима. Имало је примера, али са свим другојачим.

Традиција свештеничког чина, колико је њему било познато, сва се је састојала у непрекидној борби с парохијанима о приходима. Парохијанин угађа да плати што мање, а свештеник, слабо обезбеђен,

приморан је да граби што више. Што више заграбити, побоље се заимати, породицу своју обезбедити — то су свештенику неизбежне задаће.

. Ђирилу се душа мутила кад год би помислио о таком програму. А хоће ли он моћи извршити свој програм? Хоће ли моћи изазвати у својих парохијана поверење према себи? Неће ли му се они подсмевати? За Бога, ова се данашња традиција израђивала и стварала кроз векове! Људи се на зло привикавају као и на добро. Утврђивали су њу заједничким напорима многи појасови, који су радили у разно време, и по разним местима, али сви у једном истом правцу. И сад он сам самдит хоће да дигне мач против све те безбројне војске, против онога што је она вековима стварала?

Кроз отворене прозоре у собу је падала бледа месечина; од села је допирао далеки лавеж паса. Чувар се пробудио и ударио у звоно двадесет удара. Мура кроза сан упита Ђирила: што не спава.

— Ноћ је необично лепа. Не спава ми се! одговори он и мисли његове прећоше на Муру. Ето она спава, млада, без бриге, пуна живота и здравља. И она њега љуби истински, и срце има добро. И ето имајући уза се тако чељаде, може ли он рећи да није сам? Хоће ли она њега храбрити? Хоће ли му помагати? На та питања која му у тако разговетном облику сад први пут доћоше у главу, он не могаше одговорити. Ружно је што се они нису раније договорили. Бог зна шта она чека, и шта се може случити.

— Лези, спавај Ђирило, проговори Марија Гавриловна са полуотвореним очима. И Ђирилу се учини, да је то као одговор на његове сумње. Не, с те стране се он нема чега бојати. Она њега воли. У њему су све њене радости. Онда ће она ићи с њим раме уз раме ма се што случило.

Други дан већ у 9 сата чувар им јави да у цркви ћак и ћакон чекају оца настојатеља.

— И тутор је дошао, само оца Родиона још нема. Може бити изволићете заповедити да се и њима јави?

Али је Ђирило сматрао за дужност да лично походи оца Родиона. Обуче мантију, и заповеди чувару да му покаже кућу оца Родиона.

Отац Родион је седео у својој кући, коју је начинио, како говораше, зато да би се, после његове смрти, његова удовица имала где склонити са кћерима, којих је у њега било пола туцета. — „А да су у црквеној кући, чим дође нови попа, оне би одмах на улицу!“ С тога је он своју половину црквене куће велиководушно уступио другом. Његова је кућа недалеко од речице, одвојена од сељачких кућица, и раздиковала се од њих већим размерима, препаним кровом, и жутим шалонама.

Отац Родион је био у врло тешкој прилици. По реду вაљало је он први да оде и да се јави настојатељу. Али како је настојатељ још тако млад, а он, отац Родион, већ петнаест година слави Господа у чину јерејском, и готово толико исто служио је у низим чиновима, то му лична самољубивост није допуштала да оде први. А знао је, да мора отићи, ако настојатељ пошље за њега, и опет се није могао да крене.

Долазак Ђирилов изведе га из те забуне.

— Дошао сам да вам се јавим, оче Родионе! Ја се зовем Ђирило, по роду Обновљенски! рече Ђирило.

— Оно је требало да сам ја дошао к вама, оче Ђирило, јер сте ви настојатељ.

— Бога вам, љакво настојатељство овде у селу? простим, отвореним топом рече Ђирило: — Узмите да сам вам друг — и то је све...

— Готово тако би и требало.

— Тако ће и бити! потврди Ђирило. — Што ћу у настојатеље, кад још ни служити не умем како треба.

Отац Родион се владао уздржљиво, и говорио је развлачећи, процењујући сваку реч коју из уста пушта. Ко би знао каква је ово тица? Лепо говори, а кад дође до посла, ко зна како ће бити? Ради смотрености, за сваки случај, он је и мантију обукао мало изношено и улизану, и ако је имао нову, врло добру мантију. Да не помисли: а, овај се овде на грабио паре, па, у зао час, може приходе и смањити.

Четврт сата говорили су о предметима општим. Отац Родион упита, је ли истина да је Ђирило свршио академију као први магистрант? Ђирило му одговори да јесте.

— Па што вас је, ако допуштате упитати, проморало да дођете у село? То је за чудо!

— Моје здравље! одговори Ђирило: — Моје је здравље слабо, и град ми уди! „Што да му се исповедам; а неће ме ни разумети,“ помисли он, гледајући у пуначко лице оца Родиона, са доста тупим изразом.

— Аха! то је истина да сеоски ваздух поправља здравље! рече отац Родион, а у себи помисли: „баш не бих рекао да је тако болестан.“

Тек свакојако, после првог разговора, његово се неповерење према новом другу знатно смекшало. „Па шта, он може бити, и ако је особењак, добар човек, и, ето, не пуњи се.“ Али је у њега било спремно једно питање, које ће бити као најпоузданiji пробни камен. И кад се дигоше да иду у цркву, он ће рећи:

— Знате шта, оче Ђирило, да не би било никаких песпоразумљења, добро би било да се још с почетка договоримо о приходима.

— Па шта бисмо ту имали, оче Родионе?

— Да се договоримо о деоби. У нас је утврђено: две паре иду свештеницима, а трећа на све друге црквене служитеље.

— Е па ако је такав ту обичај, ја га кварати нећу.

— Врло добро! А што се тиче оне две паре које иду свештеницима... како ћемо с њима?

— С њима? Па, разуме се, делити их по пола!

— Не, не; ово је добар човек. Одиста добар човек, помисли отац Родион. Отац Манојло је узимао себи више... Бог и душа, ово је красан човек.

Од тога тренутка лице се оца Родиона засија, покрети му посташе слободнији, и говор потече живље.

— Сад ви мени опростите, оче Кирило, ја ћу вама своју породицу представити доције; у овај мах она је сва у послу, рече он, и после тога они одоште у цркву.

Луговска је црква стара зграда. Њени ниски сводови били су црни од влаге и од кадионога дима, иконе су биле толико отрвене да су лица њихова могли разликовати само стари парохијани луговске цркве. Све је потребовало велике оправке почињући од патоса, који се испровалајвао, и двадесет пет година није фарбан, до полијелеја а и све цркве. Уз то је црква била доста тескобна: није у њој могло стати више од триста душа.

— И толика колика је већином је празна, рече отац Родион.

На самом уласку, с десне стране, на узвишеном месту, за орманом стајаше тутор, онизак, плећат сељак, с кратком проседом брадом, и са косом добро намазаном црквеним уљем, и сачешљаном уз главу. Он бејаше у прслуку, у цицаној кошуљи, и у широким панталонама, варошкога кроја, а без капута.

— Карпо Мијаиловић Кулик, наш црквени тутор, препоручи га отац Родион — Један од најпопштенијих наших сељака. Човек газда. Има три стотине оваци, и друго.

Кулик приклони главу, и подметну шаке да прими благослов. Кирило га благослови ћутећи.

— Тррре — тррр... поче Кулик, а никако не можаше довршити реченице...

— То јест, трећа је трогодница како он служи као тутор, објасни отац Родион: — он је тепав! додаде даље, а Кулик диге свилену мараму, којом је

био покривен орман, и пред очима Кириловим показа се ред систематски сложених воштаних свећа разне дужине, и дебљине од провлака до свадбених свећа. Било је јасно да је Кулић служећи тако дуго као тутор, добро научио како треба држати у реду црквени орман за свеће.

Тек што Кирило дође до половине цркве, а њему на сусрет иза певница изиђоше две слике, врло мало сличне једна с другом, али ипак с нечим заједничким у обе. Иза леве певнице иђаше слика невисока, у пепељавој мантиji, и с масом кудраве прне косе на глави. Образи упадли, нос шиљаст, и жута боја на лицу, на ком је избијала веома слаба редотач, као на земљишту врло неродном, што је све говорило да тога человека подједа нека изнутрица. Друга слика, која је ишла иза десне певнице, беше високог раста и јуначке снаге. Узани полукафтан био се припио уз његове пуне и гипке удове. Слика је ступала тромо и прорешетани патос се улегао под њом. Сличност је међу овим двема спликама била у томе, што су обе ишли спустивши руке низа се, и боно лице оне прве слике било је тако смерно, као што је румено, набрекло од здравља, космато било лице друге слике. Обе једнако су се приклониле пред настојатељем, и обе су подставиле своје дланове за благослов.

— Ја сам ћакон Симеун Стручак, боним гласом проговори омалени човек у мантиji.

— Бак Дементије Глуштенко! громовитим гласом представи се јуначина с деспа.

И, добивши благослов они сташе као каква врата, кроз која прођоше Кирило и отац Родион. Прегледаше олтар. Кирило нађе да је зграда црквена у опасности, а да и утвари захтевају да се што шта измени.

— Новаца немамо... А ми бисмо то давно!... рече отац Родион, а право рећи њему до тога времена ни у главу нису долазиле таке мисли. Он је ипселио овако: Богу је све једно где било да му ми служимо и на

чем било да се служба врши. Свршивши преглед, Кирило их све позове к себи. Текла Чепуриха, не гледајући на то што је Мура још спавала, већ је давно била припремила самовар. Кирило почасти чајем цео причат луговске цркве.

VI

На велико чудо оца Родиона, у недељу црква бејаше пуна чисто луговских парохијана. Било је и појатара, али ипак главни број богомољаца састављаху житељи самога места. Али чуђење оца Родиона дође до вршка када, у време док ћакон Стручак читаше јеванђелије, у цркву дође и стаде с леве стране, испод невнице и сама спахиница, Нада Алексијевна Крупејева.

А у том није било никакога чуда, пошто је тој недељи претходила вредна агитација од стране црквених пријата, тутора, чувара и, особито, Текле Чепурихе. Свако вече је Текла збирала гдегод на склоњену месту жене и описивала им новога попу, младу попадију, и како они живе, и што говоре. За Кирила је говорила да је то прекрасна душа, а за Муру — да је њу тешко разумети: некако је дивља, а у кући баш ништа не разуме. Из других извора знало се да је Кирило веома учен човек. Тутор Кулик је причао да тако учених људи нема више од дванаест у целом царству. Мора се мислити да је ученост Кирилова покренула и саму спахиницу. Знате сви су се надали да ће нови настојатељ говорити своју приступну беседу, у којој ће показати луговским парохијанима сву своју необичну научност. Надали су се такође да ће нови настојатељ и неку нову особито свечану богомољу уредити. А кад тамо, а оно ништа!

— Шта је ово? Какав је ово попа? Танак, ћосав, а по мишљењу парохијана, свештеник треба

да је снажан, да има округлу браду, и јак глас. Није им било по вољи ни служење новога попе.

— Мрнца нешто себи у недра; ништа му се не може разумети. Већ отац Родион истина је о мало науке, али служи лепше. У њега чујеш сваку реч. Па у чем му је та велика ученост? А жене што су псовале!... То већ нема...

Кад се и служба сврши, а нови настојатељ никаке беседе не изговори, онда сви рекоше да он није ништа.

— Какав је то вајни учен попа?! Мора бити да је то какав малоумник па су га послали нама. Дванаест учених људи за сву Русију; али ја држим оваких ће се и дванаест хиљада наћи, па се немају куда денути.

Отац Родион је за време целе службе стајао у олтару.

Пред свршетак он приђе Кирилу и тихо му рекне: — Оче Кирило, овде у цркви је и спахиница. То бива врло ретко. Требало би јој изнети нафору.

Кирилу је био познат обичај, по ком се спахијама износи нафора. Тад се обичај њему није милио још од детињства.

— Не треба, оче Родионе, не треба! рече Кирило: — За сад ја још не знам никаквих њених заслуга. — А знате ли ви, оче Родионе?

— Речимо да и нема никаквих заслуга; али је ипак она спахиница. Ја њој свакад износим нафору.

— Простите ви мени, оче Родионе: — али ја њој нафоре нећу изнети! меко одговори Кирило.

И малко промућурнији парохијани опазише да нови свештеник није изнео просфоре спахиници. Још су нешто опазили. Кад се свршила служба, појатари упрегоше коње у кола и одоше кући. Исто тако разиђоше се кућама и домаћи богаташи. Кирило није никога звао к себи на доручак ни на чај. Мотрили су какво је лице у спахинице: да ли се она љути

или не љути? — Али нису могли опазити ништа. Она је изишла из цркве, рекла по неколико речи с двема женама, после се дознalo да их је питала како им је име, па је села у своје каруце и одвезла се кући.

Ласно је разумети да су се тога дана сеоски разговори највише вртели око новога свештеника. И ваља казати право: више их је било који су га осуђивали него који су га хвалили.

Али се тога дана додогоди нешто што са свим збуни луговске парохијапе. Антоније Бондаренко, који имаше земуницу баш на крају села, удавао је кћер. То бејаше нешто необично, зато што је време свадбама почињало тек од краја септембра. Али је ствар била у том што је кћи његова Гаршина, са свим изненадом, почела да дебља. Кад се то опазило, онда Марко Працуц, млад, порастан младић, који није одрицао своје грешке у тој ствари, остави на страну и млатило и лопату, па пошље Антонију сватове. А како се од те недеље почињала седмица новога свештеника, то Антоније и дође Кирилу. То је било у 7 часова у вече. Кирило тек што је свршио вечерњу, вратио се кући, и застao Муру за чајним столом.

— Је ли дома отац попа? упита Антоније Теклу, која се већ са свим наместила у кујни.

— Сад пије чај. Почекај малко!

— Мени је кућа подалеко. Сама знаш; има читаве две врсте.

— Е, па не могу ја њега дизати од стола... Тек што је дошао из цркве.

Разговор тај чу Кирило, отвори врата и упита:

— А шта желиш ти?

Антоније скиде капу и поклони се: — Рад сам к вашој милости, оче! Имам посла.

— Уђи овамо у собу! рече Кирило. Антоније уђе и поклони се Марији Гавrilовној.

— Шта си рад?

— Кћер сам рад венчати! Зато сам и дошао.

— Па венчаћемо је, кад хоћеш?

— Ја би желео сутра.

— Лепо, венчаћемо је сутра. У десет часова дођите у цркву.

Антоније се опет поклони па ћуташе даље.

— Лепо, дакле, сад пођи с Богом! рече му Ћирило. Али се Антоније не мицаше с места. Он не само није држао да је ствар свршена, него је још мислио да још није ни почета. По његовом мишљењу ту не бејаше онога што је најглавније. Свајако попа ће венчати Гаргину; зато он и јесте попа.

— А колико ће бити за венчање, оче попо? упита најпосле Антоније.

— Па даћеш сто рубаља! рекне Ћирило најозбиљније гледајући му оштро у очи. Антоније се подругљиво осмене, и отресе главом:

— Хм!... тих новаца ја нисам видeo од кад сам се родио.

— Е па... а ја мање нећу!

Антоније упре очи у Ћирила да види: да ли се нови попа шали, или је тако глуп. „Мора бити да се шали!“ помисли Антоније и рекне:

— Не, не; ви оче кажите праву цену!

— Како је теби име? упита Ћирило.

— Антоније Бондаренко.

— Видиш, Антоније: за праву цену ти питај кад изиђеш на пазар. Кад што купујеш и продајеш, ту за праву цену питај, а мени си ти дошао по послу црквеном, светом. Црква није пазар, у њој никаке трговине бити не може.

Антоније гледаше у њега и не појимаше што хоће.

— Овде ја нешто не разумем, мишљаше он у себи: — или је несит, или — Господ да га зна!

— Иди ти с Богом! додаде Ћирило. А Антон се не мицаше с места.

— Па колико ће бити, оче? упита он.

Ћирило се врати к столу, седне, и узме чашу с чајем.

— Имаш ли доста земље? упита га.

— Земље? имаћу четири десетине и по.

— Је ли ти храна родила?

— Храна? Како да кажем: и јесте, и није. Жито је добро. С две десетине готово сам сабрао шеснаест четвртина, а јечма са пола десетине пет четвртина. По десетине бостана. А други усеви и поврће како које. Али сено је у нас баш добро. Кад би Бог дао да свуд у свету тако сено буде! Знате, оче, то није сено, него свила!

— Е па ти си богат човек, Антоније Бонданенко. Како да ја од тебе не узмем сто рубаља?

Антоније опет избечи очи. Никако није могао да спази онај осмејак којим је Кирило спроводио своје речи. Видећи да се толико мучи, Кирило му рекне прости: — Слушај Антоније, иди ти у име Бога, и гледај посла. За венчање даћеш колико можеш; а ако не можеш — и онако ћемо венчати. И свима својим сељацима кажи да се са мном не погађају и не цењкају.

Антоније захвали, и изиђе веома збуњен. Он чак није знао да ли да прича сељацима што је говорио с попом? Путем је рачунао: да може рахат дати „карбованец“ (сребрну рубљу) за венчање, не рачунајући свећа, које ће обашка купити. Да је то у оца Родиона, без пет рубаља не би он хтео ни говорити, а са свећама би отишло и свих седам. То му је било тако мило да се је бојао да му ко не поквари, да не разбије новога попу у тој намери. Мора бити да нови попа не зна какав је ред овде. А ако то дозна отац Родион, он ће му све разјаснити, и ствар ће ударити са свим другим путем. С тога Антоније смисли да све то задржи у тајности докле се ствар не сврши, а кад се ствар већ сврши, да исприча сељацима све. И кад су га запитали: „узе ли ти нови попа много за венчање?“ он од часа одговори: — маче ми шест рубаља као једну!

— Охो! види се да већ зна како треба!

— Е, него? до краја хоће да се греши Антоније: — па зашто би он био, како кажу, тако учен и већ преучен?

Пошто Антоније отиде и врата се за њим затворише, Кирило уста и, потресен, прохода по соби.

— Знаш ли да ме то чак врећа, што је тако јако укорењена у њих та болест! — рече он окренувши се Мури. Видиш ли да он долази к мени са свим као трговцу: ваша роба, наше паре! И ја сам уверен да је он незадовољан, чак и збуњен... Помисли само: ја сам свештеник, ја треба да осветим свету његове кћери с њеним жеником, он је зато дошао. И он говори мени: продај ми за пет рубаља божијега благослова! А ја треба њему да одговорим: не могу, то стаје десет и, најпосле, пошто бисмо се дуже поцењкали, погодили бисмо се за седам рубаља... Шта би он мислио о мени?

— Али за Бога, Кирило, па и свештенику треба: одашта ће живети, рече Марија Гавrilовна.

— Треба, Муро, свакојако треба! Али то треба уредити некако другојаче. Тај начин мене врећа... врећа...

Мура му није више ништа говорила; али он њу ни мало није уверио. Она је из детињства гледала како се цењка за све молитве и обреде, и навикла се мислiti да је то све у реду, и да другојаче не може ни бити.

Други дан сврши се венчање Гаршине са Марком Працуом. Сватова није било много, једно што је била велика жега, а друго што се и за Гаршину знало каква је. После венчања Антоније приђе Кирилу и, веома збуњено, рече:

— Како сте рекли оче, ево сам вам донео рубљу.

Кирило мирно узе од њега рубаљску банку и предаде је одмах ђакону оцу Симеуну. Ђакон видевши рубљу, тако се намршти, да је ђак Дементије, и сећи венце у олтар, одмах опазио да није добро. Ни по минута не прође, а они оба узеше нешто шаптати за певницом. Одмах иза тога, Дементије крупним корацима преко све цркве прејури, стиже Антонија на вратима и ухвати за рукав.

— Ти, волино једна, што је то? упита га ниским здражаним гласом.

— А што је? вели Антоније, премда је врло добро знао што хоће ћак.

— Ђако што? Зар за венчање само рубљу дајеш?

— Бог и душа, Дементије Јермилићу, ја више немам.

— Не питам ја тебе имаш ли или немаш, него те питам колико је теби попа одредио?

— Попа? Попа је рекао: „колико можеш, оно-лико ћеш и дати.“ А... ја...

Ђак Дементије се готово изгуби; тако је то било чудно и необично. Антогије се тим користи, и умајне, бојећи се да га још не би огулили. Дементије се врати тишим корацима за певницу и каза ону ћакону што је чуо од Антонија. А у то време и Ћирило, скинувши са себе одежду, изиђе из олтара и упти се ка вратима. Њих двојица уђуташе, али им се на лицу опажало чујење и незадовољство, премда су се старали да притаје та осећања.

Ќирило је то све видео, али се чинио невешт, и изашао је из цркве.

— Па шта ће то бити, оче Симеуне, питам ја вас? свим својим широким грлом дрекну тада ћак Дементије! — Ту ће се помрети од глади! Ако се за венчање неће узети, да зашто ће се узети?

— Нови обичај, Дементије Јермилићу! слабим тенором одговори болешљиви ћакон, додавши: — суд с вином склоните Дементије Јермилићу!

Ђак Дементије приђе столићу који је стајао на сред цркве, узе суд с вином и однесе га у олтар. Све је он то извршио необично зле воље. А ћакон је стајао с погнутом главом, као човек који је прикао покоравати се свакојаким незгодама у животу.

— Знате ли шта? рећи ће ћак, изишавши из олтара: — хајдемо ону Родиону да њему испричамо све.

— Да, треба, треба! рече ћакон. И, изишавши из цркве, упутише се право к ону Родиону.

VII

Отац их Родион прими са свим просто. Он је био у широким панталонама које су се спуштале до сара његових чизама, и у кратком ћурчету. Кад они уђоше у собу која се звала соба за госте, отац Родион стајаше пред кавезом који је висио над прозором, и врло смотрено мењаше воду тицама.

— А! наша нам војска долази! проговори он остављући како је био и не прекидајући својега послана: — Е, како иду послови?

— Рђаво, оче Родионе! — пожали се ћак Дементије, у чијим грудма још је кипило нездадовољство.

— Е, е? А шта је то рђаво?

— Мало час је венчана ћки Антонија Бондаревка, и за венчање смо добили само, само рубљу!..

— Како то може бити? Отац Родион једнако бејаше миран, и не прекидаше свога идилскога посла.

— Врло просто. Сврхисмо венчање, кад ево ти Антонија: приђе оцу Кирилу...

Сад ћак отпоче причати како је то било устављајући се на најситнијим појединостима. Дошаоши до свога објашњавања с Антонијем, и поновивши Антонијеве речи „попа је казао: колико имаш, онолико ћеш и дати“ — отац Родион одмах остави кавез који се узе љуљати час на једну страну час на другу.

— Нуто, нуто! Е, то могу рећи и ја да је рђаво! рече он.

— Веома рђаво! жалостиво дададе ћакон.

— То, знате, треба учинити само један пут, па после ће све тако. То је њима веома по вољи.

Оно њима у оца Родиона, значило је парохијанима. Он понуди ове служитеље црквене да седну, и отпочне се темељни претрес те појаве.

— Морам признати, ја сам одмах опазио у њега нешто онако, нешто сумњиво, — говораше отац Родион: — али ако тако пође и даље, можемо се и жалити.

Претрес је трајао дуже од једнога сата. Нај-
после се одлучи: не хитати него очекивати да се
види шта ће даље бити. Може бити да то он чини
као човек још невешт, не зна како иде ред.

Прва седница Ђурилова беше богата требама.
У ковача Пахомија, који је ковао свему селу, умре
стара мајка. Ковач је није много ни жалио, зато што
је баба дugo боловала, није била ни од какве ко-
ристи, него је само била једно грло више, а он је и
без ње имао породицу са седам радних уста! Он дође
ћаку Дементију.

— Шта је? да иније Мавра отишла Богу на ис-
тину? упита га Дементије. Цело је село знало да
Мавра болује. И у тако радно доба, не би ковач ни
долазио ћаку без важна узрока.

— Погодили сте, Дементије Јермилићу! Упо-
којила се, Бог да је прости!

— Е, па сад?

— Треба је сахранити.

— Лепо, ти је носи и закопај. А ми ћемо у
недељу пизићи на гробље и опевати. Може бити да
ће дотле још кога Бог примити. Тада би све у је-
дан мах.

— Ја бих желео онако како је ред, Дементије
Јермилићу!

— Да, и ја бих желео бити владика, е? Чудна
тица и бејаше та твоја Мавра! Ваљда хоћеш за осам
гроша да кренеш на пратњу све свештенство?

— Е, па што ћу, Дементије Јермилићу, чим
узмогнем отплатићу. Може бити некад ћу и коња
потковати.

— Ти ћеш мени коња и онако потковати! Нема
од тога ништа, Пахомије, батали ти то!... Моја је
ишеница још на гувну...

— Ако је тако, онда морам отићи самон попи! — И
Пахомије се упути Ђурилу.

— Глај ти! како су већ прољушили какав је
оваки попа! Оцу Родиону јериле не би пошао, помисли
Дементије и науми очекнути што ће рећи Ђурило.

Пахомије дође Кирилу и јави да му је синоћ умрла мајка. Он се намешташе да изложи своју молбу о укупу...

— Је ли у вас све готово? упита Кирило.

— Све, што је у обичају.

— Е лепо, позови тамо ћака или ћакона!

Пахомије се збуни. — Ђак ми вели „закопајте је сами, па ћемо је у недељу опојати. Мени треба средити пшеницу, а за осам гроша ја не могу остављати свој посао.“

Кирило поћута; обуче мантију, узе капу, и пође. Испред куће се видело гувно Дементијево. Ђак је био у цицаној кошуљи без кафтана. Сламни шешир бејаше му спао на потиљак. Он је усрдно млатио своју пшеницу; зној му се грашкама ваљао низ лице. Смотривши попу пред кућом, он се још више пожури. Кирило постаја часак и размисли: „Одиста је у њега пуну кућа деце!“ Изиђе из ограде и удари на Дементија.

Ђак се устави и с поштовањем скиде шешир.

— Помози Бог! рече Кирило.

— Бог помогао, попо! Ако заповедате, да се спремим да идемо на опело?

— Не треба, ја ћу сам опојати. Мислим да је и ћакон у послу?

— Сабира бостан!

— Е, лепо; ја ћу сам све свршити, рече Кирило. У то време слуга му донесе свежањ с одеждама. Кирило узе свежањ, и оде за Пахомијем. Дементије гледаше му у леђа и мишљаше: „Какав си чудњак ти! Да ли у срду твом седи Бог, или си ти лицемер! Ко да те разбере?“

Кирило опева Мавру, и испрати у гробље. Када му ковач, пошто је све свршио, пружи прегрш бакарних гроша, он му рече: не треба! Јер је мало пре видео чемер у ком живи Пахомије с великим породицом. „Како да узмем од немаћника?“ — помисли Кирило, и додаде: „На зиму ћу ја имати кола. Кад на њима пукне шина, ја ћу зовнугти тебе, и ти ћеш је спојити!“

— Што је год по волји, све ћу вам учинити, попо, за вашу доброту! — рече с особитим осећањем Пахомије. И одиста је био веома дирнут пажњом новог свештеника. У Лугову је већ био обичај: нарочито су се опевали само богати покојници. „За мање од две рубље нећу ни с места да се померим,“ отворено је говорио претходник Ћирилов. За сиромаше се држало да је доста, што их однесу и укопају, а после попа дође те их све опева у један мах, кад их се накупи пет—шест. Особито се то чинило лети кад и свештеници и ђакон и ђак имају својих послова много. Парохијани су се били навикли на тај обичај који је био уведен Бог те веси када, и нису ни протестовали. Догађало се овда онда да когод и огледа склонити свештено-служитеље да одступе од тога обичаја, кад би у сиромашној кући умрло какво поштовало лице, као што је сада у ковача Пахомија. Понекад се могло и успети да се за рубљу сврши опело, и да се по вршидби донесе ћак жита. У опште питање о наплати за свештенодејства било је постављено у Луговом просто и отворено.

То је било у петак. Пред кућом Дементија Јеримића уставише се лепа кола с два крепка парипа. Напред је седео момак у белој кошуљи у сламном шепширу са широким ободом; по зади, у седалу које се гигало, седео је пуначак сељак, с тамним лицем које је веома било обрасло, с малим очима, с густим и седим обрвама. Сељак је имао на себи плаву хаљину по којој се опасао првеним појасићем. На глави му беше кала од плаве чохе; и по свему је личио на каквога человека из града. Дементије, који је згртао жито у гомилу, како га виде, остави лопату, и похита му на сусрет.

— Марко Андријевићу! Којим добром ви? А како је у вас тамо на појатама? Изволите у кућу!

Дементије је говорио и био је веома рад госту. Познавало се да је Марко Андријевић Шибенк, богати појатар, био мио гост. Појатар мало смаче својим густим обрвама, и дугим брцима, што је значило осмејак, и пружи своју смаглу и окорелу руку Дементију.

— Захваљујући вајним молитвама, Дементије Јермилићу, живи смо, проговори он, малко као мучијући. А може ли се у кућу? Чујеш Митко! Скини једну врећу овамо у кућу.

— Е, то је лепо! ви нас не заборављавате!

Митко се тромо скидаше са свога високог седала, а домаћин и гост уђоше у кућу. У соби их дочека Дементијева жена, Антонина Јегоровна, жена још доста млада, и по саставу, и здрављу са свим слична са својим мужем. Она је баш потпаљивала огањ под котлом у ком су мрдали живи раци. Њу беху опколила деца с прникастим главама, с балавим носовима, у дугим кошуљицама без појаса и без панталоница, с великим трбусима, а босонога.

Антонина Јегоровна правда се што не може пружити руке Марку Андријевићу, зато што је сва гарава од чаји.

— Немојте замерити, рече Дементије, она вам је увек таква!

Пошто они уђоше у кућу, Антонина Јегоровна одмах изиђе у стају, уми руке, обуче оплећак, узе стакло с ракијом, мало сухе рибе, и на скоро се јави у соби са свим тим понудама.

— А чија је у вас сада седмица? упита пре свега Марко Андријевић.

— Новога попе Кирила! — рече Дементије и при том некако без наде отресе руком.

— Аха! Е ми ћемо огледати и њега! Ја сам начинио нов амбар. Сутра већ ваља сасипати жито, а без освећења то не бива. Рад бих данас да се окропи!

— Ми ћемо то с особитим задовољством, Марко Андријевићу. Већ нама од вас неће бити криво.

— Боже сачувай! Та ја сам готов и напред. Овај час!... Изволите ви Дементије Јермилићу, сами предајте попи! Марко извади испод пазуха везану кесу и избрзи три банке по три рубље, и једну од рубље даде Дементију. Дементије узе.

— Кад би сви парохијани тако радили, ми би смо постали богаташи! рече стежући у шаку банке: — ми од таких милостивих људи и живимо.

Али у то време њему у глави сину мисао, која натмури лице његово. „Не лези враже, нови настојатељ може и овде начинити зло!“ помисли он: — Он ће лепо ово узети, али ће човеку вратити кусур!...

— А зашто ви, Марко Андријевићу, не бисте очекнули до недеље? А? упита он, а зна се зашто. — Од недеље почиње седмица оца Родиона, и ствар је сигурна.

— Кажем вам, жито је готово. Сутра га сручујемо. Никако се не може чекати.

— А, тако, тако! Ти, Антонина, части овде Марка Андријевића, а ја идем попи да јавим.

— Па могао бих и ја с вама поћи, и у једно поznати се с њим. Ја сам и њему две вреће жита донео колико ради познанства.

— Не, не! очекните ви! Најпре идем ја, па после ви.

Дементије оде Кирилу. Настојатеља заста за писаћим столом. Марија Гавrilовна сеђаше на дивану и читаше књигу.

— А! ви сте, молим седите, сад ћу ја! — рече Кирило продужујући писање. — Муро, то је наш ћак, Дементије Јермилљ Глуштенко!

Мура му пружи руку. Дементије узме ту руку свом својом широком шаком, стеже је, и од забуне необично је затресе. Али се није усуђивао сести, него оста на ногама, узмањувши се од дивана читава два корака. Мура га упита колико има деце. Он одговори да их, Богу хвала, има доста, и да је најстаријег сина већ дао у духовну школу.

— Рашта сте дошли? упита Кирило окренувши се к њему заједно са столицом.

— С појата дошао сељак Марко Шибенко, моли да се оде к њему, да му се освети амбар.

— Па да идемо!

— То је сељак богат, први на појатама!... Ево донео је сам десет рубања.. ја му нисам ни речи рекао. Велите ли да примимо? гласом крива човека објашњаваше Дементије.

-- Зар баш сам нуди? упита Кирило гледајући му у лице.

— Тако ми Бога, оче Кирило, ја нисам ни заискао, нити и намигнуо!

— Ако је богат, и ако сам нуди, што и да се не прими?

— И ја велим, зашто да се не прими! Ево новаца!

— Ставите их у општи тас!... Па се спремите да идемо.

— Е, иди му сад ухвати крај, мишљаше Дементије, враћајући се кући — Ако је богат, и ако сам нуди! А колико је таких богатих? Сам, каже, нуди! Ама је то са појата Марко, појатар: а појатарш су са свим други људи! Чекај кад ће ти наши Луговци сами понудити! Да! Рашари кесу! Пролазећи својим ходником, он смотри вређу жита, добро набијену, и чврсто завезану. „Ето се одмах познаје појатар! Сам је донео, нико му ни поменуо није. Па каква је врећа: округла, весела, скоро ће у њој бити сто ока! И да продаш — паре ћеш да узмеш!“

Дотле је Марко Андријевић искапио добрих пет чаша, и шесту је одбијао само зато што треба ићи попи.

— Није, знate, лепо. Удараћу на ракију!

Он се само тога плашио, а овамо га је још друга чаша била ухватила.

Он дође Кирилу. Попа се већ бејаше обукао. Марија Гавриловна у другој соби претураше по орману тражећи му чисту мараму. Марко Андријевић је у ходнику и, као човек који зна ред, не гледајући на то што је било суво, марљиво стругаше своје ћонове о дрвени prag. Разгледавши да на лево воде велика двокрилна врата, а на десно — ниска обична — он

је смислио да ће на десно бити кујна, па удари лево. Отвори врата и уђе. На уласку се устави, мирно погледа у угао, три пута се прекрсти, и иза тога се поклони домаћину.

— Ја сам Марко Шибенко с појата, оче! рече он жмирајући очима.

— А! Па ми ћемо с вама и поћи! Ја сам готов! — одговори Кирило, мислећи, да је Марко дошао да га пожури.

— Да, то иде својим редом; него сам ја дошао другим послом.

— Послом? Е, онда седите, и кажите!

— Покорно захваљујем. Само пре свега допустите да узмем благослов!

Кирило се мало збуни. Он никако још није могао свикинути да даје благослов сваком који му приступи. По давашњој навици, његова се рука пружала да се рукује, а овде му нико није приступио, који није тражио благослов. Марко приђе к њему, прими благослов, и пољуби га у руку

— А сад на ствар! рече већ одрешенијим тоном: — ми своје свештенике поштујемо, и свакад се старамо да им чинимо годимете.

— Седите, зашто стојите! рече Кирило.

— Покорно благодарим! одговори Марко, и седе на столицу саставивши ногу уз ногу. — Што нама Бог по својој милости даје, то ми делимо са својим свештеницима. И тако ради првог познанства, допустите, оче, да вам дам две вреће жита на дар.

— Мени? А зашто? Ја то још нисам заслужио?

— Ви се за нас молите Богу. Ми сваки дан трешимо, а ви одмолявате грехе наше својим молитвама. Ето само за то! Осем тога ми поштујемо свештенички чин. Зато вас молим да примите две вреће жита.

— Ја, право да кажем... Немам ништа против тога. Само ми је то некако чудно! Извините, примићу! Хвала вам!

Тирило се збуни. Таке понуде није ни предвиђао. А знао је, да се сељак ничим не може више увредити, него кад му се не прими дар.

— Е, баш вам хвала! Нама је главно да би било све оно што духовнику треба: оно што је попово — да је готово! Ако се само од нас не либе, ми смо свакад готови допети, дати. А матушку—попадију хоћете ли допустити да видим?

— Зашто не бисте! Можете, можете! Муро! Ево човек хоће да се позна и с тобом!

Марија Гавриловна изиђе с марамом у руци и неразумљиво гледаше у Марка Андријевића, који је седео на столици. Она никако није могла разумети распшта би он желео с њом се познати. Кад она уђе, он се диже.

— Дакле ово је матушка—попадија? Ала је млада! Боже, како је млада!...

И он некако нехотице приђе к Мури, ухвати је за руку, и пољуби! Мура није имала кад ни отргнути се од те почасти.

— Ја сам с појата, матушка—попадија! Молим, вас, дођите нама! Ми ћемо вас примити тако радо, тако радо... Ми људе од свештеничког реда много поштујемо. Скупићемо све појатаре: пет возова самога зрна донећемо вам! Само нам дођите!

За Муру је све то било нешто чудно. Није знала распшта он тако пријателски зове, нити што ће она на појате, нити што би се они скупљали и њима возили пет возова хране? Она је само ћутала, и гледала у њега са нескривеним непојимањем.

— Хе, хвала, хвала! — рече за њу Тирило. — А нама је већ време да идемо.

Марко још једном понови свој позив, па изиђе за Тирилом. Са стуба он вијну онамо ка Дементијевој кући: — Еј, Митко! притерај овамо, па скини попи две вреће што су напред у колима.

Митко промрда, заузда коњиће, и кроз часак кола запкрипеше свим својим деловима. Митко при-

тера вратницама. Скиде вреће, и намести сено за седење. Ево и Дементија у пепељаву кафтану, и са свежњем под пазухом. У свежњу су биле одежде. Он рече да је оцу Ђакону нешто лоше. Наместе се и појезде.

Појате, или хутори, које су се звале Чубатовске, зато што су сељаци, који су ту живели, насељавали се на земљи која је преће припадала спахији Чубатову, највише се зову само *Појате*; од Лугова до њих нема више од десет врста. Сви појатари имали су своје земље: неко дванаест десетина, неко два-десет, а двојица су, и то: стари Јеремија Хубар и Марко Шибенко имали и по тридесет десетина, и још су држали под аренду од луговске спахинице по неколико десетака десетина. Не гледајући на то, појатари нису градили лепих кућа, него их је половина боравила у земунцима. Кад би појатаре ко упитао: што не граде лепих кућа? Они би одговарали:

— Немамо ми кад и то да радимо! А и што ће нам? Ми смо се навикили на своје земунице. У великој кући, породица се раздроби по разним угловима, и не виде се. А у малој земуници сви се забију, па им је и топло и весело.

Зато су поред малених кућица стајали високи амбарови, пространи наслони за стоку, за овце, за пилеж, и за сваку муку и невољу. Могло би се рећи да је прави домаћин овде била баш та мука и невоља, а људи уз њу, смерни и покорни послушници, само су се склањали у каквим било кућама и земунцима.

Тек што кола Маркова изиђоше на вишу греду којом је дерао велики пут, кад се усред поља показаше Чубатовске појате. Могао је човек набројати њих четири десетине кућа с оградама, где су стршили у вис високи пластови сена и сламе, и красни стогови неовршена жита. Уза сваку кућу бејаше и бунар, и над сваким се дизао високи ћерам као стражар, који чува у среди степа (пустара) усамљену појату.

Кроз пола сата они минуше неколико појата, и приспеше кући Марка Андријевића. Та се кућа ничим није разликовала од других кућица, само су околне грађевине биле пространије и лепше, и особито се жутео према сунцу велики нови амбар. У авлији је тумарало дваестина људи сељака и жена у радничком оделу. Види се да су дошли с вршаја, и да се сад мало веселе, пошто су жито већ овежали. Чим Кирило уђе у авлију, књему навалише људи и жене да се благослове.

— Нови попа! говорили су они међу собом. Их, ала је млад! додавале су жене, и уз то су, не знам рашта, гласно уздисале.

Марко га замоли да уђе у кућу. У тескобној кући, с ниским таваном, с малим прозорима, за дугачким четвртастим столом седела је десетина сељака — већином стараца. То су биле старешине појатарских кућа. Опи сви усташе и изиђоше иза стола. Кирило се прекрсти према почајалим иконама које су висиле у самом углу, па се поклони онима што беху у соби.

— Помози вам Бог! рече он свима.

Бог помогао! чу се, али учестано из многих уста. Почеше му сви прилазити руци ради благослава. После свију приђе жена, порасна, румених образа, и лепо обучена.

— Ово је моја домаћица! рече Марко.

И Маркова жена узе благослов од попе.

— Па да почнемо! рече Кирило. Дементије одреши свежањ, и даде му одежде. Сељаци су раздознalo гледали у њега, и размишљали како су сада изишли и попови врло млади. Кад се је Кирило обукао, сви изиђоше у авлију. И ту под јужним сунцем које већ прљи, пред столићем на ком беше чинија пуна воде, сврши се освећење новог амбара Марка Шибенка.

— А сад вас молим да се мало заложите чим је Бог благословио! рече Марковица. Кирило прими понуду, и први уђе у кућу. Ту се сад све било

променило. Сто је био покривен белим чаршавом, и постављени су по њему тањири и посна јестива. Два велика суда с ракијом висила су се поврх свих јестива.

— Молим, попо! ево овде! рече домаћица по-казујући место у углу под шконама, најпоштованије место, на које се посађују најуваженији гости. Кирило седне, па се до њега намести и Дементије; око стола се наместише једно петнаест људи, и само две жене.

— Пре свега окусите мало ракије, рече Марко, заједно са својом женом, која није седала за сто, и наточи Кирилу чашу красне ракије, а после и свима гостима. Сви испише до дна, а Кирило скрну четвртину чаше и остави је.

— Е, оче попо, зар тако? Треба испити до дна! рећи ће убедљивим гласом домаћин.

— Не, не: не треба! чаша је врло велика!

— Мени је то криво! Онда мој амбар неће бити пун! То свак живи зна.

— А о чем смо ми Бога молили, домаћине? Зар писмо баш то и молили да амбар буде пун? озбиљно упита Кирило.

— Оно, истина, јес...

Сељаци се узбиљише и гледају ћутећи; само Марко понављаше своје: „оно, истина.“ Кроз часак његова забуна прође, и он рече:

— А сад чашу другу, да би и у напредак Бог мјему амбару зрна давао! При том он наточи све чаше. Дементије већ диже руку да узме своју чашу, али баш у тај мах Кирило рече:

— Ја мислим да је човеку једна чаша довољна.

Сељаци се зачујено згледаше. Дементије трже руку од чаше и стаде гладити своју раскошну браду. Али домаћица узе те речи за шалу, и проговори:

— Деде, оче, још чашицу попите; јер ако не-ћете ви, неће ни други!

— Што бих ја пио, кад ми је то непријатно, и још ми шкоди? А поред тога свештенику и неличи пити.

— А у нас свештеници, Бога ми, добро пију! рећи ће један од гостију.

Неки то примише одобравајући; а неки се чак застидеше од тих речи.

— Ја мислим да је оно не знам какав попа, који не жели с нама појести и попити! одвали други гост. На то сви одговорише дубоким ћутањем.

— Како је теби име, и где ти је кућа? упита Кирило онога што последњи бесеђаше.

— Мени је име Сидор Товкач, а кућа ми је, оче, ако би ваша милост пожелела к мени, — трећа од куће Маркове! — одговори сељак.

— Е, ја ћу то запамтити, и у кућу Сидора Товкача никад нећу ући! Ја пити ракије не умем — онда излази да ја њему и нисам попа!

Товкач подрвене као рак, и толико се збунио да није умео речи проговорити. Кирило настави:

— А свима другима који и без ракије мене поштују за свога попу, ја ћу казати: зашто ја не пијем много ракије. Не пијем је зато што чувам своје здравље, што сам рад да на свету поживим дуже, и уз то да увек будем човек паметан. А ракија, ако се пије више него што треба, уди здрављу, и скраћује живот. Теби је суђено да живиш седамдесет година, а ти, пијући много ракије, дотераш једва до педесет. Ти си човек паметан и сви те поштују и уважавају, а од ракије твој ће разум да отупи, да се омрачи, и кад погледаш — оно се од паметна човека пачинила будала, и сви ти се смеју. Према томе размислите сами: имам ли ја какве користи да је пијем преко мере?

— Па оно одиста излази да користи нема никакве! — потврдише сви.

Збуњени домаћини више ником и не нудише ракије, наумивши да права пијанка настане тек после кад попа оде.

После тога, кад је послужен и слатки колач са шљивама, Кирило устаде, а за њим усташе и сви.

Кад он изиђе из куће, осуше се тихи разговори: „Ово је учен, истински учен човек, не мари што је млад. И како је озбиљан. А наш Товкач, може се рећи, да је право у ступу упао! Прост човек!“ — Кад је Кирило, кога је пратио Дементије, седао у кола, приђе му Сидор Товкач, с поштовањем скиде капу, и рече:

— Молим, попо, опростите ми! Оно ја онако лунух по простоти својој... И сада се од срца кајем!

И онда замоли Кирила да га благослови!

— Дођите к мени Сидоре с вашим сељацима, да се поразговарамо! Ето у вас је писмених људи мало, школе немате, а заражију много пара трошите... Ви сте људи приличнога стања!...

Сидор саслуша тај позив с поштовањем и ћутећи.

Њих није вратио натраг Марко, него један младић од његових раденика. — Видиш, они су права деца! — рече Кирило окренувши се к Дементију, који је седео напоредо с њим: — као год деца они верују све: и добро и зло. С тога не треба пропустити никакву прилику где им се може показати добро. Није ли истина, Дементије Јермилићу!

— Та то се само од себе разуме! — одговори Дементије, коме је с једне стране ласкало, што учени настојатељ ступа с њим у тако озбиљан разговор, а с друге стране га је само срце болело што није могао остати код Маркоје куће. „Хе, сад они хвале новога попу, а оканица за оканицом празне се у највећем весељу!“ мишљаше он с тугом у срцу!

VIII

— Е, сад ћемо се наплатити! Сад је седмица оца Родиона! рече ћак Дементије ћакону Симеуну Стручку у суботу на вечерњи.

— И доиста, Дементије Јермилићу, морамо грабити! Ах, што ово богата недеља бејаше! Да је то

била седмица оца Родиона, у нас би на тасу било најмање четрдесет сребрних рубаља. Замисли само: венчање, три опела, амбар осветили, баби Морошнички свештали масла — све су то важне требе! И у нас у тасу једва четрнаест рубаља и по! Срамота казати. Управо срамота је казати!...

Речју млађи служитељи прквени у Лугову беху незадовољни првом седмицом новога настојатеља. Да ли је њом био задовољан отац Родион, то још нико није знао. Он је примио извештај од ћакона о стању таса за недељу, не рекавши ни речи, чак није пишта одговорио ни на Дементијево питање: „Па како вам се ово чини, оче Родионе? По свој прилици, он, као човек који ништа не ради на памет, није још био саставио свога погледа на нову појаву.

Зато су опета по селу ишли свакојаки разговори. Аптоније који је срећно једном рубљом платио венчање, причао је својим сељацима како је ствар ишла. — Видиш с тебе смо ми згрешили — њега осудили! говорили су сељаци: — а ето какав је он.

У недељу су долазили на службу појатари и причали су овом или оном Луговцу о оном што је било у Марка, кад је освећиван амбар. То је умножило разговоре о новом настојатељу.

Међу тим, треба казати да село није ни мислило долазити ма каквој опредељеној одлуци. Сви разговори тицали су се само чињеница.

Морошнички је рекао: „Ти, старице, гледај те оздрави. Ако устанеш, и зарадиш, намерићемо се, а ако умреш, срачунаћемо се на оном свету — говораше неко из друштва.

— Глај ти њега какав је!... На оном, вели, свету. Хм!... примећавалп су слушаоци.

— Кад су сахрањивали Прошку, Авдеихинога младенца, Авдеиха му је гурнула четири петака. А он, погледавши кака је спромаштина у Авдеихиној кући, рекао је: „Лепо, хвала, него чекај да ти дам кусур.“ Пробркавши по цепу, он њој даје кусура више него што је примио. „Ти, вели јој он, оном

старијем купи рибљег зеитина да пије, јер он има скрофуле.

— Права чудеса, тако ми Бога! Човек с памећу никад то неби чишио.

— Е, то зависи, како човек воје о чем мисли.

— Чубатовцима је рекао да ишту само по две чаше ракије. „Више, рекао је: — не можете!“

— Две чаше су сељаку мало!

— Богме врло мало! На прилику крштење је... Зар се са две чаше може свршити крштење? Или је свадба. Аја! Никако не може бити само две!...

То бејаше јесен. Дан бејаше натуштен, и спремаше се киша. Кирило је у тај мах био у парохији. Марија Гавриловна једва је устала с постеље, и које-како обукла се. У собу уђе Текла, и јави:

— Некака кола стадоше пред кућом! Познаје се из вароши су! И у Марије Гавриловне јако срце зајуца. Истрча пред кућу и врисну:

— Мамице!

И после три секунда, она бејаше у наручју Ане Николајевне Фортifikантове.

— Зар ви, мамице, сама на тако далеки пут?

— Џре свега није далеки пут којекаких педесет врста, а за тим, нисам ни сама — ето ко-чијаша!

Ево што је: мајка се растужила за кћерју, па дошла да је види. Мура јој се неисказано обрадовала, почела се смејати и скакати; сваки час би притрчавала к њој, грила је, и, најпосле, заплакала.

— Ово је, мамице, Бога ми, само од радости!

Ана Николајевна нађе да им је стан леп. Нешто јој не беше по вољи Текла, која је одмах ушла с њом у разговор, казавши да је она жена сирота, удовица, и да је служила у свих свештеника. А кад је Мура изашла, она приђе Ани Николајевној и рече јој тајненим гласом: — Него ви, матушка, припазите! Не умеју да живе! Други би попа до сад већ имао бар две краве, и десетину оваца, имао би своје

шилези, а у њих нема ништа! Срамота је казати — а ми брашно купујемо! Попа — па да купује брашно! Никад то у нас није било. Ја сам служила у три настојатеља, и сва тројица су продавали брашно. Гледајте ви те њих и научите!

Ма да је ово вређало Ану Николајевну, опет је она казивање Теклино припамтила. И доиста је чудно: два месеца живети на парохији која се броји богата, па баш ништа не стећи!

— Е, па причај ми како ти је овде? упита Ана Николајевна.

— Лепо ми је. Ја сам задовољна! одговори Мура.

— Али објасни ми како проводиш време, и све друго!

— Време проводим највише с књигом. Ћирило је — или у цркви, или на требама, или у школи, или онако хода по селу.

— А ти седиш сама?

— Да Богме, па што је то?

— Познанства немаш? Та овде има спахиница. Ја мислим он је њу походио.

— Ко? Ћирило? Боже сачувай! Он каже: „ако буде каква посла — отиши ћу; а онако — ја не знам ко је она ни што је.“ С фамилијом другога свештеника познала сам се. Шест девојака! Немам никаква интереса с њима се дружити.

— Излази да ти ту умиреш од чаме?

— Мени Ћирило све једнако говори: познавај се са сељацима; на сваком кораку срешћеш интересни тип!

Ана се Николајевна слатко наслеђује и помисли: „Овај одиста нема четврте даске у глави!“

Дође и Ћирило и обрадова се ташти. — Е, сад ћете познати како је овде у селу лено, па ћете и сами овамо прећи! рече он.

— Бога ми то опростите! То никад нећете дочекати, поносито одговори Ана Николајевна. Питање о месту живљења, у ње је било у исто време и питање

о напредовању и о назатку. У престоницу — то је на веће приходе, а у село — то је на дохотке мање! С тога је предлог Кирилов носио у себи праву увреду за њу.

До мрака се Ана Николајевна својим очима уврила да је у њих све куповно, и да је Текла говорила истину. За сваку ситницу, што треба за кујну, Текла је трчала у бакалницу: за маст, за лук, за кромпир. Скоруп којим се служе с чајем стоји готово толико исто колико и у граду

— Слушај, дете моје, биће вам све врло скупо, ако ви сваку ситницу будете куповали. Зар су у вас приходи тако велики?

— Кирило мени даје све што прима, до последње паре.

— Е, па од прилике колико долази на месец?

— Донесе двадесет — до двадесет пет рубаља.

— То ти је сав приход? Леп ми је то приход! Нема му замерке. Хвала им лепо! Баш су га наградили! То је за академију, за магистранство! А колико трошите?

— Око педесет рубаља!

— Па од куд их узимате?

Марија Гавриловна збуни се и попрвени. — Не мари, мамице; наши ће се приходи доцније увећати, и ми ћемо...

Ана Николајевна гледаше је замишљено, па јој на један мах сину мисао.

— Ја разумем! мртвачким гласом рече она: — Ти си начела готовину!

— Мамице, па шта ће бити ружно од тога? То је почетак; доцније ће бити боље, и ја ћу попунити оно што сам окрњила... Само њему, Кирилу, не казујте, мамице. Он ништа за то не зна. Он живи као мало дете.

Ана Николајевна не одговори ништа, али узмаче обрвама као какав војник, и научи, да се „лепо разговори“ са зетом.

Други дан, кад је Кирило отишао у парохију, Ана Николајевна је примила неколике посете. Прва јој дође попадија оца Родиона. То беше жена прилична растом, широких плећа, и пуна. И ако јој је било прешло педесет година, она се бејаше и одела и закитила све отвореним, веселим бојама. И то није било од кишошења, него је баш мислила да покаже дубоко поштовање окружној противници својим веселим оделом.

— Није другче, опростите, али вам се морам жалити на вашега зета, рече она готово још с врата. За име Божије! Он заводи нове обичаје: од парохијана ништа не иште — „колико ми даш!“ каже им! А они, врагови промићурни, па дају грош! Хоћете ли веровати да је мој муж преће зарађивао, ретко кад, шездесет рубаља на месец, него осамдесет, сто, па чак и сто двадесет. А сада двадесет — до двадесет и пет! О чем ће се живети? У мене је пода туцета кћери!... Истина, то је све по његовој ненавештини!.. Човек је још млад. Али зашто не би дошао к мом мужу, оду Родиону, и упитао за савет? Истина ваш зет јесте настојатељ, али је мој муж човек извежбан.

За попадијом дођоше¹ и жене Ћаконова и Ћакова. Ове се чак не усуђиваху да заузму понуђена им места на столицама. Препаде се од окружне противнице. Али ипак изјавише: да се с овако малим ириходима, какви су од доласка новога пастојатеља, живети не може.

— Ја то и сама видим, и сама видим! — говорила је као у одговор њима Ана Николајевна, потресена тим извештајима: — али верујте, тако остати не може. Ја ћу се разговарати с њим. Ради своје кћери разговорићу се!

Жене, које су ово радиле појовлашћењу својих смирених мужева, одоше са срцима пуним наде.

— Имам нешто с тобом да говорим, драги зете! рече Ана Николајевна Кирилу, и опоро узмаче обрвама. Бејаше скоро ноћ. Мура је седела на перону,

пред чајним столом, и довршивала главу романа. Ана Николајевна, користећи се њеним одсуством, — да почне и сврши тај, како она држаше, непријатан разговор.

— Ја сам вам на служби, мила Ана Николајевна, рече Кирило благодушно. Он је готово и знао о чем она мисли говорити и како ће говорити.

— Не разумем то што ти радиш!... Не разумем! Само си два месеца овде, и већ су сви незадовољни тобом.

— Нису сви, Ана Николајевна, нису сви!

— Сви! Отац Родион крваве вაља; ћак и ћакон се жале, да немају од чега да живе. Како нису сви?

— А парохијани? Ја држим да вам се они нису жалили?

— Зар ћу ја сад ићи да разговарам с твојим парохијанима? Па то и није важно: јесу ли задовољни они или нису, за Бога милога! Ти си њих распустио. За требе дају колико хоће, и приходи свештенослужитељима спали су на трећину. Ја чак то не умем ни да објасним. То је, то је нека лудост!...

— Е па нама стиже, хвала Богу; и једемо и пијемо задовољно, и одевамо се лепо. — Ана Николајевна погледа у њега оштро, хотећи разазнati: да ли је он одиста дете, или се претвара да је дете.

— Слушај Кирило! рекне она низим гласом, ко тако живи на свету, он ласно може спаси на просјачки штап. Ти не знаш шта ти под носом бива. Прихода ти имаш на месец двадесет пет рубаља, а трошиш педесет... Разумеш ли!...

Кирило се загледа у њу онако испод обрва, иопрвени, и чврсто стеже скут од мантије, којим се пређе играо у руци.

— То је крива моја Мура... Ја то нисам знао, и, уставши брзо, додаде: Хвала вама што сте ми то казали, Ана Николајевна! Ми ћemo то променити.

— Променити, да како, променити! Ја и не говорим што жалим. Али свакојако треба да се нешто чува, зло не требало, за прне дане. Ја само то светујем.

Кирило гледаше кроз прозор и ћуташе. Ана Николајевна, верујући да га је дубоко потресла, изиђе у ходник к чају.

— Где сте ви тако дуго? упита Марија Гавриловна.

— Није... Тако... У мене су ципеле тако тесне... док их назујем...

Кирило је дуго остао у соби сам. Кад је и он изишао бејаше се лепо смркло, и Ана Николајевна није могла разгледати како му је лице. Други дан ташта се врати дома, узвеши са собом и готовину да је уложи у банку. „То је сигурније“ — рече она Мури. Али ипак, за сваки случај, остави јој четири стотине. На поласку не рече Кирилу ни једне речи од поуке, мислећи, да му је оно довољно. А Мури, зовнувши је на страну, шану:

— Ја теби, Марија, желим среће и надам се да ће све бити срећно. Али ако се ма што... онога часа хајде к мени! Све што имамо ми — твоје је!...

— Ништа мени не треба. „Ма што да буде, ја ћу остати с Кирилом,“ помисли Мура, и пошто мати оде, она дође к мужу, узе га за руку, и тихо рече:

— Знаш ли ти Кирило да сам ја?... Она не доврши реченицу, а сва поцрвени. Кирило је мило пољуби и рече: „Весела моја Мурка!“

IX

— Муро! ја бих хтео срачунати колико ми трошимо! То је лепо да се зна, рече једном Кирило. Мура се сети да је то „мамичино масло;“ али видећи да он не ради отворено, него дипломатски, науми и сама да малко шеврдне.

— Ево! рече она, узе плајваз и хартију, и поче гласно срачунавати. Користећи се потпуним Кириловим незнაњем, она стављаше свачем цену за половину мању. На крају свега рачуна изиђе да они

троше око двадесет и пет рубаља на месец, то јест, управо онолико колико и добијају. Чак је неколико копејака и претекло!

— Ехе! онда је Ана Николајевна оно рекла тек да нас мало приплаши, помисли Ђирило, и исприча Мурш што је разговарао са таштом.

— А ти видиш ове цифре! дрско, као какав праведник, одговори Марија Гавриловна.

Последак тога разговора бејаше да се је Текла и даље бунила како ово двоје младих не умеју да живе, и све је ишло као и пре.

Већ проћоше четири месеца, од кад се Ђирило доселио у Лугово. Одношаји његови према парохијанима и према свештенослужитељима већ су се толико определили да је отац Родион, који је све једнако очекивао да се „овај младић образуми,” једном морао рећи опу Симеуну и Дементију:

— Е, пријатељи, ово није младост, ово је лудост!

— Управо, оче Родионе, лудост, и лудост заплетена, одговорише она два свештенослужитеља.

— Ово треба променити! рече отац Родион.

— То је дужност! потврдише она двојица.

И одиста је требало размислити о том. Луговски парохијани не само да су се користили новим обичајем, него су га још и злоупотребљавали. Људи који нису баш спромаси, давали су за важне требе тек по штогод. Неки би за укоп спуштао два гроша! Свештенослужитељи су се с почетка пакнађали тим што су кроза седмицу оца Родиона гулили два пута више. Али после се и парохијани досетише, и свакојако одгађаху све требе за Ђирилову седмицу, остављајући оцу Родиону само оне, које се нису могле одгађати. Те јесени од неких дваестину венчања једва је пет — шест дошло на део оцу Родиону; сва друга су отишла Ђирилу. Обичај „плати колико можеш,” врло је био по вољи луговским парохијанима.

Кад се отац Родион уверио да то није младост, него лудост, он обуче мантију, метну на главу ка-

милавку, и у таком службеном оделу, оде је настојатељу. Полазећи, рече попадији да хоће „добро да се разговори“ с њим.

Прва га угледа Текла. Његово тако одело и доба у које долази, њој се учинише нешто ванредно, да она упаде у собу и каза Кирилу:

— Ево нам оца Родиона! У камилавци и у новој мантиji!

— А, добро дошли! добро дошли!

Отац Родион, тешко корачајући, и размахивајући широким рукавима своје мантије, изиђе уза стубе. Кирило му изиђе у сретање и уведе га у собу. Поздравивши се с Муром, која је онде седела, отац Родион жалостиво седе, и рече:

— Ја давно нисам у вас био, оче Кирило!

— Давно, давно; свега сте један пут и били, оче Родионе!

— А нисте ни ви у мене више пута, оче Кирило! Оно, знате, кад људи живе врло близу и често се виђају, они и не опажају...

С почетка бејаше као да је отац Родион само дошао ради виђења. Али, учинивши још две три опште примедбе, он се врло гласно накашља мало на страну, и рече:

— Ја бих с вама имао мало посла, оче Кирило!

— Е па шта је, оче Родионе?

— Посла... да... важна посла!

Рекавши то, узе своју браду левом руком и подигне је у вис, па је пусти, и опет је тако подигне и опет пусти. Мура се диге и оде у другу собу. Опазила је да им смета.

— Оче Кирило! Тако се више не може! Не може! отворено рече отац Родион: — размислите сами, у мене је шест одраслих кћери, и нико их не проси!... А ја се морам старати о њима, да их храним, и да их одевам... Најпосле, па и мираза треба нешто скунаторити!... Шест их је.... шест! Није једна....

— Оче Родионе?!

— А узмите, на прилику, Дементија. У њега је чопор деце! То све ваља хранити и некако и школовати. Али вам морам казати да чак ни о том није реч, него само да их може исхранити, па и то не може, оче Ђирило...

— Оче Родионе?!

— Молим, молим, оче Ђирило, пустите ме да свршим. Ја не говорим много; тешко ми је било најавити се, а већ кад сам се накапио, пустите да до-вршим! Четири месеца чекао сам да ви сами увидите, аја, нема ишта! И шта да чиним? Није вајде, него *отверзи уста своја!* И ево их ја *отверзох!* Немојте се љутити на мене, оче Ђирило, него знајте да се овако, тако ми свега на свету, не може даље! Не може, оче Ђирило!

— Ама, о чем ви то говорите, оче Родионе? Ви се баш на некога жалите?

— Управо жалим се! А на кога? На вас, на вас, оче Ђирило! Ви сте наумили отерати нас у просјаке. До вашега доласка ми смо не само заражавали довољно за своје издржавање и друго, него смо још могли понешто одвајати и на страну, за црне дане. А сада је страшно и казати! Чак нема доста ни за храну. За којекаква четврти месеца ви сте... опростите оче Ђирило... распустили парохијане до крајности, ви сте искварили целу парохију...

— Искварно?

— Искварили, да како! Лугово је било најбоља сеоска парохија у целом срезу, а сад... Сад је то најсиромашнија нурија.

Отац Родион, који је изишао из куће, с тврдом намером бити уздржљив, и говорити мирно, није могао остати на мери, кад је реч дошла о парохији. За петнаест година тој су парохији завидели свештеници из свега среза, а сад на један пут један балавац, тек што је обукао мантџу, узео мудровати и хоће лепо да га упропасти. И отац Родион подиже глас:

— Не, оче Кирило, тога се ваља манути. Истпна, ви сте човек млад, немате још искуства; али кад од вашега незнაња и други пате, онда треба и савета потражити.

— Ви мене прекоревате што ја не постављам цене за сваку требу; што остављам да ми плати колико ко може — је ли то, оче Родионе, упита Кирило кад се отац Родион једном устави.

— То, то, баш то, журно рече отац Родион: — у том је све зло; у том је корен злу!

— А ја другојаче не могу, оче Родионе; не могу. То је противно мојој нарави, противно је свима мојим појмовима.. Не могу!

— Допустите, оче Кирило, да вам кажем, то је неправо: ви сте један, а нас смо тројица, и у свакога има жена и деца. Ми смо живели за Богом, и ником од тога није било штете. На један мах долазите ви, и говорите: то не ваља што они живе на свету; треба њих уклонити са света. Ми смо староседеоци — оче Кирило, оправдите што тако говорим, а ви сте дошљак. Ми живимо онако како живе сви други, а ви хоћете не само да живите сами на свој начин, него тражите да и ми живимо као ви. А је ли право то?

Кирило се замисли. Мислио је колико се јако појмови оца Родиона разликују од његових појмова. И он се није ни старао старом свештенику објашњавати своје поступање. Нека мисле да је то инат, невештина, све што им је воља, све то они могу разумети! Али да је то цела система, која потиче са свим из другога погледа на свештенство, на пастирску службу, то се управо није могло ни казати. Рећи то — значило је објавити рат са свим отворено.

— Може бити да то и није право, оче Родионе, али ја другојаче не могу, рече он замишљено и све реч по реч.

— Како? Зар ви мислите тако поступати и ако је то неправо?

— Да, да, да! Ја ћу тако поступати, оче Родионе, зато што другојаче не могу.

— Али ви нисте сами. С вами је и наше живљење свезано!

Кирило устаде и, малко раздражен, прохода по соби.

— Слушајте, поштовани оче Родионе, ја сам то предвиђао, и молио сам владику да ме пошље кудгод у далеко село, где бих ја био сам; а он ме послал овамо. Шта да радим, ја крив нисам, то је његова воља. А ја какав сам... такав ћу и остати... Ја вам то кажем отворено, оче Родионе, и ви ћете разумети да је то тако: ја овамо нисам дошао до ходака ради. Доходака ја сам могао имати у граду и бољих и већих од ваших луговских, да сам само хтео. Замислите оче Родионе: човек добро свршио академију, које је хтео место у граду могао је добити, а он дошао у село! Зар тај човек није промислио о свему што ради? И зар после свега тога ви мислите да ме окренете својим разлозима?

— Па зар баш нема никакве наде? Шта ли?

— Није тако; него ви отидите владици и молите га да он мене премести на другу парохију, малену какву. Можете му рећи да ћу се и ја тому радовати.

Отац Родион се дигне, узе шешир, и штап, и мрачно рече:

— До виђења!

Излазећи, он мишљаше „мора се мислiti да је овај учени академац — просто суманут човек!“ Дома он заста, разуме се, и ћака Дементија, и ћакона оца Симеуна. Они сеђају у чекаоници. Они су тако биле забринуте да нису умели отпочети разговора, него су седели ћутећи и гледали у дувар. Кад дође отац Родион, они оба одмах усташе, и оба се досетише да су преговори свршени несребрно. Да то није било тако, отац Родион би одмах почeo: „А, ви сте овде? То је баш добро!“ А сад је он прошао мимо њих тако ћутећи као да у устима воду носи. Кроз два минута, он изиђе без камилавке, и рече:

— Дементије, душо, иди упрегни мркова у кола. Мој слуга није дома, а ја хоћу да одем до спахинице!

— Аха! у једно време помислише и ћак и ћакон, ствар није пропала. Дементије оде да упрегне мркова, а отац Симеун да му помогне. Пет мпнута после тога, из авлије оца Родиона изиђоше кола у којима је седео отац Родион, у својем парадном оделу, с просфором у руци. Кочијашпо је Дементије; кола се упутише к спахиској кући.

А отац Симеун оде кући. Али после једног сата, Симеун се опет упути оцу Родиону, јер виде да су се и кола већ вратила.

То је било у вторник, дан кад се не служи. Око шест сата тога истог дана пред станом пастојатељевим устави се коњаник, по прилици настојник из јекономије и, поклонивши се Кирилу, који сеђаше на уласку, даде му писамце овако адресовано: „Милостивому Господину, оцу Кирилу Обновљенскому.“ Отворивши куверту, Кирило нађе посетну картицу на којој под литографисаном врстом: „Надежда Алексејевна Крупејева,“ бејаше написано мастилом, ситним и поузданим рукописом: „Убедљиво моли оца Кирила, да би извелео доћи к њој ради врло важне ствари. Ако треба, одмах ће бити послане каруце.“

— Ја кола немам, рече Кирило и нехотице.

— Ако заповедате, оче, да се одмах пошљу каруце?

— Ако г-ђа спахиница има са мном важна послана, па — нека пошље!

— Одмах ћемо послати.

Коњаник се окрете назад, и одскака. „Врло важна ствар,“ размишљаваше Кирило: „шта би то могло бити? Можда кака треба. Али би казала што је, па и одежде требало би узети.“

— Шта ти се чини, Муро, што то може бити?

— Ево што ја мислим: Отац Родион се жалио спахиници на тебе, и сад она тебе зове да те поучи...

Кирило се зацени од смеја. Шта је она? Кога ће она да учи? Зар је она мој прота? Знаш ли шта, Муро, ја мислим да је најбоље не пъни...

— А ја мислим да треба отићи. Ти си и обећао; и кола ће ти се послати... Може помислити да си се препао од ње. Поред тога, то је само онако узрок... У ње можда од истине има нешто важно. А главци је, Кирило, што сам ја теби хтела одавно да кажем.

— А што?

— Ето ти ћеш се познати с њом, па ћеш познати с њом и мене, те тако ће се наћи душа с којом бих ја бар две речи могла проговорити. А овако сам са свим сама.

Каруџе г-ђе спахинище скоро дођоше. Кирило обуче мантију и сачешља косу која му је већ била веома порасла, и пође. Спахиска је кућа била на три врсте од цркве, одвојена од села. Ту је поред велике куће, било много зграда за раднике, за марву, за жито, за ковачницу итд. Сама кућа, у којој је живела спахиница, једва се помањала својим поцрнелцим од времена кровом, кроз гране питомих дрвета. Около је сад био врло велики али некако неуређен и запуштен.

Каруџе уђоше у капију, прођоше кроз сад, и приђоше к уласку спахиске куће. Нека чисто одевена жена, коју је Кирило видјао у цркви, бејаше на стубама, клањаше се и говораше: „Изволите, оче, Госпођа вас чека!“ Кад је Кирило узлазио уза стубе, жена се приклони и прими благослов од њега. Пропашавши кроз неколико пространих соба, готово празних, он уђе у трпезарију, и устави се још на прагу. Невелики округао сто, покривен белим чаршавом, и постављен посуђем, стајао на средини. На њем је већ кључао самовар. За столом у високој столици седео је црнооки малашан од својих шест година, а напоредо с њим сама Нада Алексијевна Крупејева, коју је Кирило видео у цркви, кад је оно служно први пут. Она одмах стави на сто суд са скорупом, брзо се дигне и пође њему у сретање.

— Врло се радујем што сте пристали и дошли! — рече она јасним, задовољним гласом. Њено црнпурasto лице веома је привлачило; у тамним очима њеним светлио се разум; била је готово раста висока; танка, стаспта, она се држала право. У опште она је на Ђирила учинила повољан утисак. Гледајући је не бисте јој дали више од тридесет година!

— Мени је казано да имате важна посла!

— Да, како хоћете! Молим вас седите!... Ја ћу вам налити чаја. А ово је мој синчић!...

Ќиприло се поклони и седе. Мадишањ остави чај, и чудно гледаше на госта у дугачкој мантији и са дугачком косом.

— То је попа, чедо моје! он први пут види тако близу свештеника! објасни домаћица и настави: — Да, има важна ствар. Видите код мене је неколико сата пред вамиа био отац Родион, ваш помоћник.

— И жалпо вам се на мене! с осмејком рече Ђиприло.

— Жално се на вас. Он вели да сте ви распустили парохијане, и да су од вашега доласка свештенослужитељи пали у праву сиромаштину.

— И ви сте мене звали да ме, како треба, поучите?

— Боже ме сачувай! већ са свим напротив, одговори Крупејева, изговарајући све реч по реч.

Ќиприло је погледа врло марљиво.

— Напротив? Онда ви одобравате оно што ја радим?

— Н-не са свим! Али о том после. Оцу Родиону ја сам обрекла говорити с вама. Он је врло, врло потресен. Наравно, он неће ту stati: он ће ићи архијепископу. Ви то треба да имате на уму!

— Ja?

— Па ви.

— Ja нисам учинио ништа преко закона; иничега се не плашим!

— Нуто какав сте ви човек! Кажите ми је ли то истина да сте ви свршили академију, и да сте врло учени?

— Да сам свршио академију — то је истпна, а да сам учен — није истина.

Спахиница стави пред њега чашу чаја и показујући на скоруп и хлеб, рече: — узмите, молим вас!

— Елагодарим, ја чај обично пијем са својом женом дома.

— Ви мене познајте с њом! Допустите да јој дођем?

Кирило се поклони, додавши: — Она ће се врло обрадовати! Она је овде сама самцита!

— Онда је баш добро! Сутра ћу ја доћи к њој... Е, а за ваше свештенослужитеље шта мислите? Мислите ли ви да оно нема места што они траже?

— Ја то не велим. Доиста они сада зарађују врло мало. Може бити да то, с оноликом породицом, њима и није доста. Али ја не могу допустити оне трговачке начине, који су се вршили пре.

— Злате шта. Може се и тој невољи помоћи. Кад би се, на прилику, давала свештенослужитељима определена плата.

— А од куда?

— Е, макар из мојих прихода.

— Из ваших прихода?...

— Што ме гледате тако зачуђено?

— Ма како не бих? Рашта бисте ви давали из ваших прихода на такву једну ствар, која је вама са свим туђа. Зар то није за чуђење?

— Ето какав сте ви човек! Први пут сте ми укући и већ ме врећате.

Она изговори ово шаљивом оштрином, као што се говори с људма врло добро познатима. Кирило се збуни. Он је у опште мало ценио своје умење разговарати с дамама, и лако је допустио, да се у најпростијим речма његовим могло наћи оно, што он није ни мислио казати.

— Опростите, можда сам се ружно изразио.

— Ништа, ништа, ја сам се пошалила! похита казати домаћица, видећи колико се збунио. — Ја сам само хтела казати: зашто ви не допуштате менци искрено желети помоћи једну добру ствар. Па макар то било и од тога што не знам шта да радим?!

Она прсну у смех. Кирило одговори врло озбиљно: — Не, није то. Ја само нисам мислио да ће се та ствар вама учинити тако добра.

Они се договорише да други дат саставе тачан прорачун. А тада у начелу би одлучено: да Нада Алексијевна Крупејева одреди из својих прихода редовну плату свештенослужитељима с угодбом да они после не траже никаквих доходака од парохијана. После спахинице обећа сутра доћи Мури да се позна с њом.

Кирило се врати кући радостан. Дошавши у ово село само зато да „поради за блажњега свога,“ он је страдао у души својој видећи да је плод тога његова рада незадовољство његових сарадника. Сад ће се уклонити узроци том незадовољству. „Ја сам увек мислио да на свету има добрих људи!“ размишљао је он, а дошавши кући, узе хвалити Крупејеву пред Муром. Мура се веома радовала што ће се сутра отворити и њој познанство са живом душом.

X

Нада Алексијевна Крупејева већ пет година живи непрекидно у Лугову.

Велики, запуштени сад, у ком је каменом зидана кућа, с поцрнелим од времена дуварима, с угнутим кровом, некад је био сад за углед. У њему је било биља свакојаког, стаза правих и кривих, широких и узаних; много углова хладовитих, много зелених пропланака; много појетичних седала, окићених павитом и вињагом. Тај сад је био на гласу са шпан-

ских вишања за које се зало и у губернском граду, под именом „крупејевских вишања,” и куповале су се на јагму. Много је у њему било јабука и крушака; чак је било и винове лозе, и малина!

Све то било је до ослобођења сељака, кад је живео и владао Луговом отац Наде Алексијевне, старап Крупејев, домаћин са страшћу, који је знао извући корист и од земље и од људи. Особиту његову љубав уживао је баш тај сад, ради кога је он држао ученога и скупога баштована Немца. Зато се тај сад гледао „као какав жив човек.“ Цео сад био је раздељен на ситне делчиће, и за сваки делић био је нарочити човек, који је кожом својом одговарао за свако дрвце, за ред, за чистоту, па чак и за плодност земље својега делића.

Старац и баба Крупејеви умреше пете године после ослобођења. Од муке одоше у гроб једно за другим. Имање оста сину им Андреји, који је био у служби и постао мировни судија у срезу. При њему сва тековина из године у годину ићаше све на горе. Тај болешљикав и нервозни човек миловаше природу, миловаше поља са густом зеленом травом, жуту ћиву, и хладовити сад, али све то он миловаше као уметник, који може по читаве сате гледати лепе видике, али који не може ни мало да се стара о тој имовини. Тако велико имање давало је, разуме се, велики доходак, али ни у пола онолики колики би могло. Андреја то није ни опажао, задовољан што има колико му треба. Половину је он трошио на којешта без користи и без задовољства себи или другом. А друга је половина ишла сестри Нади Алексијевној, која је боравила у Москви у неке осиротеле тетке, очине сестре, издржавајући својим новцем и тетку и њену многобројну породицу.

Нади Алексијевној беше двадесет и две године када доби глас да јој је брат умро. Андрија Крупејев умро је у тридесет шестој својој години, за боравивши оженити се, и тако Нада Алексијевна поста једини господар свему великому имању. Ту промену она осети са најнезгодније стране. До тога

добра она је примала од брата готове новце; а сада је требало мислiti шта да се чини с имањем? Тамо није било никога ком би се могло поверити. Млада девојка ништа у пословима није разумевала. У Лугово је није ништа вукло: од осме своје године она је живела у великом, бујном граду, пошто су и родитељи њени, после ослобођења сељака, без прекида боравили у Москви. Ту се она школовала најпре под оштрим надзором свога оца, а после у пуној слободи, јер тетка, која је са свим од ње зависила, ишле пред њом смела ни зuba помолити, него је одобравала све њене ћуди и ћефове.

И развијала се она ћудљиво, зависећи једино од своје нервозне и особите нарави. Док беху живи родитељи, она је марљиво учила своје лекције, била је тиха, мирна, и прелазила је из разреда у разред међу најбољим ученицама. После њихове смрти, она се разјали, и целу једну годину не узе књиге у руке. Зато је морала понављати. У четрнаестој години она као да се у један мах пробуди и, на велико чудо своје тетке, показа се девојчица жива и некад чак дрско одрешена. Њене подобности у један мах се изоштрише; показа се у ње нека готово неприродна радозналост: с једнаком жудњом она је читала и гутала и школске књиге, и ма какве друге, које би јој падле шака. Она је патерала тетку да се упише у читатеље једне библиотеке, па је пројајирала књигу за књигом. У теткиној породици, где је било деце свакојаких година, она се осећала сама самцита. То је долазило од туда што су њу, као извор благостица целе породице, на сваком кораку одликовали, уступајући јој свакојака преимућства: лепше парче, скупљу хаљину, удеснију собу, мекшу постељу, а уз то се цела породица старала исказати колико је воли, и колико за њу мари. Девојка осетљива, све је то опажала, и мало по мало увртала себи у главу да она одиста и јесте нешто особито, нешто више од свега рода теткинога који је око ње. С временом из тога осећања изроди се јавно презирање према роду и својти. Највише времена, које јој је

било слободно од гимназиских послова, она је проводила у својој соби, сама са књигама, које је водила већ колико и не треба. Теткини познаници њу нису интересовали, она готово није њих ни опажала; других није могла стећи. И тако у седамнаестој години, кад је свршила гимназију, и била готово већ свршена цура, нађе се сама самцита, са својом дивљом напави, која се туђила од свију и од свакога, с мутним погледом на свет, у ком је било свега само не онога што је удесно за живот, са отвореним прештањем људи који су је окружавали и били јој једни блиски.

После гимназије, наста мука и невоља. Гимназија јој је узимала већи део дана, а сад виде да има времена и сувише. Случајно је учинила два три познанства, случајно је натрапала на јавна предавања, која су се онда баш отпочињала, и изазивала много разговора. Али њена познанства нису пшла даље од првих. Онај поглед на људе, који је она усвојила себи у теткојој породици, она је нехотице и овамо пренела, гледала је на људе неповерљиво и ни с ким се није могла сложити. И предавања су је мало задовољавала. Привикнувши учити се из књига које се могу прочитати на један душак, она није могла да трип ту темељиту спорост с којом се предавала наука, разложена на делове, делиће, и лекције. Њу су једиле систематичност и доследност. Она чак није могла без срђе слушати ону реченицу, којом се обично почињало свако ново предавање: „У прећашњем предавању ми смо се уставили на том и том.“ Зашто смо се уставили? Она није могла подносити тих заустављања. Познавши се на првом предавању с почетком предмета, она би хтела ту, не дижући се с места, да га испре до краја. Изшло је то, да је она тражила књиге које о том говоре, заривала се у њих, и хладнела према „предавању.“ Речју, предавања, која су за друге била неко откривење, и уједно служила као прилика за зближавање људи, за њу нису била ништа, и чак су је срдила!

Кад је стигао глас о братовој смрти, она се онда налазила потпунце незадовољна и собом и животом око себе. Живци су јој били побркани. Не беше никога с ким би се могла разговорити, јер она ником није веровала, нити се и с ким зближавала. Она је свим својим бићем очекивала ма какве промене. Тај глас сам собом доносио јој је промену. Ваљало је ма шта чинити с имањем.

У то време, старији теткин син, који је био у пуку потпоручник и, против жеље свију, дао оставку, осетивши вољу на јекономију, оде на југ, у Лугово.

У то време породица теткина бејаше се прилично разишла: један се оженио, друга се удала, трећи дан у пансион. У кући је била осама већа него пре. Премда се она врло мало и мешала са животом те породице, ипак је пре била увек врева, коју она није могла не чути, и на коју се била навикла. Баш у то време дође јој у главу мисао да има још велики свет, који она не познаје, а може бити да ће њој тај свет бити више по вољи, него овај који је окружава.

Непривикла никога читати, нити се с ким договарати, она је сваку своју мисао узимала као одлуку. У тренутоку би одлучено да ће да пде „за границу.“ Кроз две недеље, већ је била у Германији. Ишла је с тетком којој је готово заповедила да пође. Тетка је морала слушати, јер у противном случају било би оставити не само братаницу него и њене дохотке!

Око две године Нада Алексијевна вукла је за собом бабу, устављајући се по две, по три недеље, или у Берлину, или у Хамбургу, или у Бечу, или чак у Мадриду, и од онуда у Атини. То је све било ново, све интересно, али никакав утисак није сазијо у душу младој девојци тако дубоко, да би обладао њом, и да би је повукао на једну или на другу страну. Све једнако још она није припадала никому и нишчemu, находити се у власти своје рођене осаме и својега дубокога незадовољства. Баби је било тешко тако прелетати с једнога краја Јевропе на други, и она је стењала у себи бојећи се да јој бесна бра-

таница не рекне: „Е. па ви се вратите у Москву, а ја ћу остати сама.“ С тога се је од срца обрадовала кад су се уставиле у Риму читавих шест месеца. Нада Алексијевна с необичним је жаром походила музеје и околине вечнога града, проучавајући све као прави научник. Ова је љубав дошла онако изненада, као и све друге њене милоште што јој долазе. Као да тај нови за њу свет онога што је давно било и битисало сву њу прогута, па и та милошта њена према тим старијима, једва траја шест месеца, и опет дође незадовољство и апатија. Стара тетка ваљаше опет да пакује.

Одоше у Париз.

Ту се свршава историја путовања Наде Алексијевне Крупејеве. Оно што се д догодило у Паризу и после њега, може се казати у две речи: до двадесет и четири године она није мислила о љубави; у њену главу није улазила мисао да она може припадати мањквомчуку. Рекао бих да је у жилама њеним текла хладна крв — толико је њој била туђа та мисао. Случајни удварачи, који су се сретали с њом у Москви, или на страни, били су јој просто наметници, који од ње нису могли чути ништа друго осим држности. Но ово се пробудило у њој онако исто на један мах, као и све оно што је дотле преживела, овладало је њом тако јако, као што може бити у нервозне и готово дивље нарави њене. То је било кад се је познала с ш-г Темаром, који је био две године од ње млађи, и по спољашњости имао је све што треба да постане предмет љубави девојке од двадесет и четири године, која никад није љубила. Висока раста, красна струка, с отвореним, врло красним лицем, на ком неко прикасто бледило говораше о некој преживљеној душевној борби, млади пинџишире све је освајао својом веселошћу и искреностју. Стара тетка ишакао није могла разумети како то могаше бити да се за некаке три недеље познанства Нада Алексијевна Крупејева претворила у ш-те Темаровицу, и већ живела у својој малој кућици у једној удаљеној париској улци.

И ш-г Темар није се много разумевао у тој историји. Лепа девојка рускиња привуче на се његову пажњу, и он јој се са свим од истине почне удварати. Видевши да и она њега веома воли, понуди јој брак, јер је она била врло богата. Његови рођаци одобраваху му што ради. То је била грађанска породица средње имовине, која је живела о некакве три хиљаде динара годишњега дохотка. Сраћање с родом богате руске спахипице годило је свима. Тек што су се њих троје населили, то јест, Нада Алексијевна, муж, и тетка, а већ започну досељавати се к њима један по један сви Темарови. Тетка се тресала од чуда, размахивала рукама, али није могла учинити ништа, јер братаница бејаше неприступна. Нада Алексијевна као да није ништа опажала. Она се целацита одавала свом новом осећању, проводећи време с мужем, не пуштајући га ни корак да се удаљи од ње. Големи Париз, који су они заједно разматрали, бејаше сав у човеку кога она љуби. Било у театру, било у колима, у штетњи, она не гледаше на свет који је около, него на његов одблесак у очима њенога мужа. На нове рођаке гледала је површно, и као да није на њих ни обраћала пажње. То је трајало тако за једну годину од прилике. Она роди сина, и кад уста с породиљске постелје, бејаше друга жена.

Ни узми ни остави, тим се рођењем завршио низ њезине љубави; она се диже трезна, хладна, и суморна и од часа показа прекомерно презирање према свој породици Темаровој, која је господарила у њеном стану. С каким је то правом? Шта су они њој? То су туђи људи с којима она нема никакве заједнице, осем њезина имања, које су они, на ужас тетки, тако лако делили. Туђи од других чињаше јој се муж њен. Она тек сада, кад су јој се очи осветлиле, разгледа га добро, и виде пред собом обичнога, ограниченога, и досетљивога ћивту, за љубав према кому у њеном срцу не бејаше ни једне струне! Из тога се изроди велика бруква. Она замоли све Темаре да је оставе на миру, узе дете и врати

се у Русију, не рекавши о том чак ни мужу једне речи. Она дође заједно с тетком правце у Лугово, где затече као настојника свога рођака, већ изнемогла од пића. Она и њега и тетку послала у Москву, обећавши помагати им. Сама так смести се у старој кући, у среди запуштенога сада. Одатле она не излази никуд. Сва јој је старост да гаји и васпитава сина. Ни с ким се није хтела познавати, нити хоће кога да прима. Попа године после њенога доласка из Париза у Лугово дође и млади Темар; она га прими лепо, допусти му да проборави недељу дана у оделитом криду, па му даде паре, и замоли га да јој више не долази. Иза тога је ступила у врло живу преписку с једним московским адвокатом, и баш онда, кад се познала с Кирилом, очекивала је сваки дан глас о разводу брака.

Недељу дана после познапства Кирилова са спахнициом, отац Родион добио је од спахинице позив да дође к њој. Он је ишао к њој с надом да је Крупејево пошло за руком прекршити Кирила. Свештенис послужитељ очекиваху код његове куће у тој истој нади. Али није прошао ни пун сат, а он се врати кући срдпти, и првен од љутине. Ђак Дементије чак га не смеде ни упитати, него је отишao кочијашу и помогао му испрезати коње. А ђакон, отац Симеун отишавши на страну и, скрстивши на угрнутим својим прсима своје суве руке, смерно гледаше шта раде Дементије и кочијаш. Једна ћки оца Родиона изнесе столицу и стави је у авлији, близу прага. Изпије и отац Родион, у домаћем свом оделу, седе и погледа у ђакона и у Дементија тако да они одмах приђоше к њему.

— Радуј се војско Христова! Теби се спрема велика добит! — рече отац Родион, не гледећи у њих, и таким тоном да војска и не поуми радовати се.

— Е, то мора бити добит! горким подсмехом проговори ђак Дементије.

— Како да није добит? Не верујете? Ево да вам све кажем: Спахиница из својих прихода даје нам редовну плату. Мени и настојатељу по педесет рубаља на месец, оцу Симеуну по тридесет, а теби, Дементије, двадесет пет. Јесте задовољни? А?

Они, не разумевши што је то и како је, стајаху ћутећи.

И одиста шта се на то могло рећи кад је лу-
говска парохија у пајслабије месеце давала два пута
толико, а зими, кад се ђуди жене, бивало је месеца
у који је чак ћак Дементије зарађивао по седамдесет
рубаља. То је била шега, увреда, све што хоћете,
само не озбиљни предлог. Одрећи се од доходака, од
права искати, погађати се, цењквати се — то је то-
лико колико и дати се у пуну власт парохијанима,
и без речи испуњавати све њихове требе.

Како она двојица ништа не одговорише на про-
ниско питање, а одговор је био јасан, то отац Родион
даље и не питаше, него просто рече: Сутра ја идем
владици!... Сутра, сутра! Шта ми он овде мути? Он
нас хоће у прошљу да отера? Треба њега маћи одавде.

Али се ту јави једна тегоба. За одлазак у град
требало се јавити настојатељу. Отац Родион толико
бејаше љут против Кирила, да ни за што на свету
не би хтео к њему отићи, па чак ни видети се с
њим. Науми написати му. Изнеше му на авлију дивит
и хартију; и он ту пред њима двојицом п саме по-
падије, која бејаше сва првена од љутине, написа
ово писамце:

„Поштовани и много мили оче Кирило! По до-
маћим, неодложним пословима имам потребу отићи у
губернски град. О том за дужност сматрам известити
ваш благослов. С поштовањем, јереј Родион Ману-
скриптов.“

Писмо се стави у куверту и запечати дебелом
шипком црвенога воска и, пошто се исписа сва ти-
тула, послано би Кирилу, по црквеном чувару.

Прочитавши писмо, Кирило мишљаше да је то
просто јављање; ни у главу му није долазио тајни
смисао тих неколиких речи. Сам он бејаше врло рад

учешћу које спахиница бејаше узела у невољи свештенослужитеља. Њему се чинило да је педесет рубаља на месец красна плата. Зато се и радовао кад год помисли да се од сад у његовој нурији неће цењклати за црквене требе и — што је баш главно — свештенослужитељи неће имати на што да се жале! Он науми најпре се о том разговорити с оцем Родионом и објавити у цркви у прву недељу како стоје према парохијанима.

Други дан, још у скануће, отац Родион изађе из своје авлије. Јутро бејаше хладно, дуваше јак северни ветар. Отац Родион бејаше у топлој постављеној мантиji, с уздигнутом огрлицом, у постављеној капи, и с дубоким каљачама с топлом поставом — онако како треба зими. Бејаше упрегао два коња, рачунајући да за ручак сгигне у град, да се лепо одмори, да своје мисли приbere и среди, па други дан — ка владици. Од високо дигнутог оковратника могаху се видети само округле очи са уздигнутим густим обрвама, које су сурово гледале само у леђа кочијашу. Спремајући се владици, отац Родион није тренуо сву драгу ноћ, мислећи све једнако о беседи коју ће смерно говорити владици... „Рецимо, ја нисам учен, размишљаваше он, али сам ја стар, и нисам чувен ни по каком рђавству. Требаће он да поклони пажње мојим речма.“

У граду одседе код свога старог пријатеља, ђакона трговачке цркве, Аксентија Лучкова. Они су били другови у семинарiji, обојицу су добро лемали као ленштине у стваринској школи, и тога ради обожијицу су у једно време отпустили, кад су се они, поседивши по две године у философском разреду, спремали да и треће тамо остану. Оцу Родиону поће за руком скоро се увући у попове, а Лучкову на скоро умре жена, због чега оста вечити ђакон. То бејаше веома дугачак и веома танак човек с црвеним лицем на ком је било врло мало косице. Отац Аксентије, као вечити удовац, од тешке туге, лио је страшно, али је био толико паметан да је што оне две седмице у месец кад није његова чреда.

Манускриптов дође баш оне седмице кад је ћакон могао по вољи пити; с тога, ма колико да се он старао објаснити пријатељу каква му је невоља, овај га никако није могао разумети, и сваких пет ми-пута, сркајући ракију, питao је:

— Рашта ти, Рођо, хоћеш да идеш преосве-штеному?

За тим би додавао: — Чудим ти се што ћеш му? Ето ја колико ћаконсивјем, још нисам никад био у њега. Зашто? Ето ја сад живим, нико ме и не опажа. А да одем, да му изиђем на очи, одмах би рекао: „А! ти, руменога лица! деде оставку за покој! Ја се држим правила: човек овако сиромах као ја, треба да гледа да га старији и не опазе!“

Али се отац Родион држао са свим другојачег мишљења, и други дан око осам сата пре подне већ је био у владичиној чекаоници међу толиким другим молитељима. Он је био у пепељавој доста ветој мантиji, да би боље скренуо пажњу на своје сиромаштво, и у камилавци. Старе ноге његове дрктале су од страха, а срце му је куцало убрзано. Што се више приближавао тренутак у који ће владика изићи, то је све већа магла покривала његове мисли. Некад је губио из памети суштину своје ствари, и чинило му се да на обично владичино питање:

— Шта ти, оче желиш?

Неће моћи одговорити ни једне речи.

Кад се у суседној соби зачуше меки звуци вла-дичиних папуча које се приближавају, отац Родион осети да му се смучи од страха, и да се мало повео на страну.

Најпосле владика изиђе у свиленом сјајном цу-бенцету, у малој капи, и с бројаницама у рукама. Мрдајући седом својом брадом, он окрете десно, и удари на некаког прквеног тутора који је молно да му се да похвални лист. Отац Родион стајаше трећи. Ту он опази да од онога часа како је владика ушао у чекаоницу, у њега са свим неста страха, као што то свакад бива у најкритичнији тренутак. Остао бе-јаше само умор од минулих потреса, и место пре-

ћашње таме сад је заузело са свим јасно знање онога што ће казати владици.

Дође и на њега ред. Владика гледаше право у њега па малко шаљиво рече:

— Тебе, оче, не познајем. Мора бити да ти је добро где си, кад мој праг ниси обијао!

— Немам обичај без невоље узнемиравати ваше преосвештенство! — чврсто одговори Родион, па додаде: ја сам свештеник Родион Манускриптов!

— Одакле си?

— Из места Лугова!

— Место Лугово... Лугово... Нешто ми је са свим познато, а не могу да се сетим. Па шта желиш ти оче Родионе Манускриптове! Презиме ти је лепо, звучно!

— Из онога Лугова, ваше преосвештенство, куда сте благоволели послати за настојатеља свештеника Обновљенскога, који је свршио академију, — објасни отац Родион.

— Обновљенски!... Кирило, Кирило? викну владика, и лице му сину милим осмејком: — њега ја знам. Магистрант, паметан човек и добар хришћанин!

Те владичине речи подсекоше ноге оцу Родиону. Он никад није мислио да би владика толико ценио Кирила. На против, он је пре мислио да су њега, магистранта, за неку грешку послали у село, пошто друге академице, баш и који пису магистранти, задржавају по градовима на бољим mestима. Како сад да се жали? А владика, као да је хтео са свим да збуни Родиона, додаде окренувши се свима молитељима:

— Тога младога свештеника ја стављам за углед свима осталим. Магистрант академије, па по својој жељи, отишао је у село да послужи јединому од ових малих!

Молитељи начинише насмејана лица, што је сваки узимао да ће то помоћи да му се молба уважи. Али отац Родион, који није скидао очију с владике, опази да лице његово на један мах узе неки забринутти

израз. И владика, окренувши се к њему, некако свечано ушта:

— Имаш ли што о њему да ми кажеш?

— Имам, ваше преосвештенство.

— Хајдмо! Хајдмо! То ме интересује!

И преосвештени му прстом заповеди да иде за њим.

Отац Родон бејаше тиме врло задовољан. У оделитој соби, где нема никога, он, без устезања, може казати све. Нашавши се у соби, владика седе и Родону заповеди да седне. Он мораде послушати, али се стараше да заузме што се може мање места.

— Е, дела испричај ми оче! Мене веома захтима тај млади пастир! рече владика, и пуначке његове руке узеше бројати дуге бројанице.

— Не могу ништа радосно казати вашем преосвештенству! — поче смиreno отац Родон, као да би од срца жалио што ће владици разбити добро мишљење о Кирилу. И све по реду, до најмањих ситница, исприча што му је тешко, не додавши ништа а и не оставивши ништа. Владика га саслуша с дубоком пажњом. Али се на лицу његовом није опажало ни одобравање ни неодобравање. А кад отац Родон тужно описа како спахиница одређује плату и заћута, владика се на један мах дикже и узе замишљено ходати по соби. Отац Родон такође уста и стајаше, пратећи владичино ходање не само очима, него и свим трупом својим. Али се ево владика устави:

— Тако, тако!... рече он замишљено: — де кажти мени по чистој савести, по свештенничкој савести, кажи ми, не говори ли он парохијанима што год бунтовно? На прилику, против „ власти предержаштих?“

— Боже сачувај, ваше преосвештенство, не! — брзо и још са жаром рече отац Родон: — тај грех на душу своју нећу узети. Што није, то правце и велам: није!

Опет се владичино лице засија. Он приђе оцу Родону и, спустивши му руку на раме, рече простим, готово пријатељским гласом: — Тебе ја разумем, оче Родоне! Разумем те, јер сам и ја грешник. — Али

треба умети разумети и њега. Ја и ти смо се удаљили од апостолскога живота, а он, тај млади пастир, хоће к њему да се приближи. Сад размисли — с гледишта духовнога — да ли он ружно ради? Не! не ради ружно, него ради врло добро. И спахиница је честита душа, њој треба захвалност послати. А по светском рачуну, ти си одиста оштећен, признајем, признајем. Имаш ли велику породицу?

— Шест кћери, ваше преосвештенство!

— Шест кћери? С дивљењем и чак с неким изразом ужаса, викну владика: — Тебе је Бог благословио! Нема се шта рећи.

И опет поче ходати по соби. Да, да, да! говораше он као сам себи: — ту је судар два начела: телеснога и духовнога! Да је он отишао у калуђере! Али није хтео, жећ за радом, хоће да живи с људма, на седу! Он би био дивни мисионар. Да, да, да!... Е, па шта ти управо хоћеш? а? упита он најпосле уставивши се.

— Што ви нађете за добро, ваше преосвештенство! — смерно одговори отац Родион.

— Виш какав је мајстор! што нађете за добро. Ја ту не могу ништа да нађем. Не могу ја њему заповедати да остави лепо поступање, па да почне ружно! Видиш и сам да је ружно што свештена лица воде трговину светињом, ружно, видиш! Али гледамо кроз прсте, зато што се не умемо другојаче да помогнемо, а међу тим је — тело слабачко. Него што ћу ја с тобом?

— Ваше преосвештенство! Он, то јест, отац Кирило, вели: кад би вама било угодно преместити га на другу парохију.

— Аја! То не може бити! То би личило на казну; а ја немам рапшта њега казнити. Него може бити ово: тебе ја могу преместити!

На ту понуду отац Родион саже главу, и изнемоглим гласом одговори: — Не смем ја вас учити, ваше преосвештенство!

Ту владика загледа у сат и рече да се је затворио. Отац Родион оде, добивши заповест да иде

кући и да чека премештај. Хтео је проговорити што и за ћакона Симеуна и за ћака Дементија, па се трагао помисливши да је боље не мешати се у туђе послове.

Тада исти дан отац Родион Манускриптов, враћао се на својим колима у Лугово, у најмрачнијим мислима. Ишао је у град с надом да извођује своје прећашње благостање, а сад изишло Бог те шташто! Петнаест година је он мирно цветао у Лугову; стекао имање, начинио тврду и велику кућу, а сад му на један мах ваља то све оставити, селити се Бог те веси куда, и под старост изнова кућу закупљавати. А свему је тому крив онај дуди магистрант, који је, уз то, неким чудом ушао у милост владици. Нити је он могао разумети ни одобрити те милости. Много је година он живео, и није ни чуо за таке новине, без којих је свима било боље.

Дома заста ћакона и ћака који га чекају.

— Добио сам, да ће ме преместити Бог свети зна куда! кратко и суморно рече им он.

— А шта ће бити од нас? упита Дементије.

— Од вас? По свој прилици, ништа!

Они се одмах дигоше и одоше. Путем размишљавају, да је своја кожа сваком најскупља.

XI

Луговска зима бејаше дуга и досадна. На крају новембра паде снег и својим белим покривалом покри сву околину. Ниске сељачке кућице готово утонуше у снегу који их бејаше засуо до кровова. У декембру духну југ и снег се окопни, путеви и поља претворише се у блато, у ком су тонули и људи, и стока и кола. За Божић стеже мраз, јак и сух. И даље цјаше права јужна зима — без снега, с ветровима, и не толико зла сама собом колико се је тако чинила јужњаку, који је навикао на дуго и топло лето. Мраз је држао до фебруара, а тада наста-

рана топлина, и овде онде јавиу се из земље зелена травица.

У црквеној кући, где је наставао настојатељ, бејаше топло. Кућа је била тврдо зидана, а огрев је био јевтин. Удовица Текла није ништа ни радила него довлачила у собу гориво, а пећи су гутале све што се у њих наложи.

Марија Гавриловна скраћивала је дане све на један начин, чамећи страховито из дана у дан. С Крупејевом се је познала, али се нису подудариле. За Наду Алексијевну, она је била веома проста. За два три вечера, што су провеле заједно, већ су исказале све што су могле једна другој. Нада Алексијевна још на првом састанку држаше се према њој много формално, а то разбиј Мурину живу жељу да се зближи с каквим образованим чељадетом. Простодушна кћи окружног проте, у дубини душе своје, делила је људе на два логора: на „образоване,“ и на „просте,“ и мислила је да је доста двојици људи да су оба из логора образованих људи, па да им се и душе сложе. Али је образованост ове две жене била толико различна, да оне готово нису могле разумети једна другу. Мура је свршила гимназију, и прочитала десетину књига, за које су јој рекли да су добре, и да их треба прочитати. Сав свој век она је била под старањем родитељским. Једина удаја била јој је први самостални корак. А Нада Алексијевна је проживела живот оригиналан, пун разноврсних утисака, много је што научила из књига и из живота, а главно што је — саставила је себи одређене погледе на живот и на људе. С тога она није ни могла држати се према Мури другојаче него с хладном љубазношћу, а Мура према њој с неким чуђењем и снебивањем.

При свем том једном преко недеље, најчешће у суботу, црквеној кући дојездиле би каруце у којима је седела Нада Алексијевна са својим синчићем. Са увек милим осмејком она је, не излазећи из кола, звала Марију Гавриловну, посађивала би је поред себе, и одвозила би је својој кући. Ту би оне ручале,

а после вечерње, долазио би и Кирило. Сад би се почињао разговор, који је трајао до пода ноћи. За време тих разговора, Мура је ћутећи седела, слушала њих двоје и чамотињала.

Од јануара Марија Гавриловна почне спремати дарове свом наследнику. То јој је испуњавало дане. Протиница јој је послала ручну машину на којој је шила без прекида.

А Кирилу није досађивала чама. Пре свега било је врло рад што је остао сам на парохији. Отац Родион премештен је на другу парохију месец дана после свога јањања владици. Владика пије хитар да пошље другога. Кирилу није била тешка маса по слова, и он је на време свршавао све требе. На свакој треби он је имао прилику да се позна макар с којом страном сељачкога живота. Он никад није одбијао понуде да поједе на даћи, да руча на крштењу, итд. Свуда је туда било прилика да својим парохијанима покаже како мисл овом или оном предмету. Сељаци су се били на то навикли, и слушали су га без оне формалне пажње, која допушта да се одмах и заборави што се је чуло. Проповеди у цркви није говорио. Он је држал да обучавање кроз проповеди није баш удесно. Проповед је као један део службе, који се слуша па се и поборави. Он је хтео да беседи с њима у самом животу, у раду, у сред онога свега што у животу бива.

Кирилу се чинило да његов рад већ доноси плода. Ј само то већ га је веселило што је трговина с требама била уништена. Парохијани је само јављао да у кући има крштење, свадбу, или опело, и црквени се обред свршавао без икаквих разговора. Још је Кирило опазио да на ручковима или вечерама, где је он бивао, домаћини нису нудили више од две чаше ражије, и гости су чак и другу с нећањем примали.

Истина он је знао да се онде, где њега нема, пије као и пре, и да пивнице у Лугову врло добро раде. Али само оно устезање пред њим, ипак га је веселило; он се је надао на навику.

Осем силних послова у црквеној служби, Ђирило је трошио много времена и око школе. Он је походио школу скоро сваки дан, и врло је јадиковао што учитељ ради свој посао преко срца, што не мари за своју службу.

— Што сте се примили учитељства, кад вам се тај рад не мили, кад не осећате призива к њему? питаše га Ђирило кад се он већ ваљда стотинити пут јадиковаше на своју службу.

— Призива? одговараше овај: — сваки човек има призив да једе хлеба, мој појка!

Ђирило узме обарати такав поглед. Он је ватreno доказивао да се тако не може живети, да тако, рецимо, и може мислити какав обућар, или не може учитељ. И који тако мисли, он греши!

— Е, мој попо! — говорио би учитељ: — исто сам тако говорио и ја пре осам година, а сада, пошто сам мало поживео, видим да је то лудорија. Живот је једна мука и невоља. Једно само оставје — оженити се, добити уза жену две ста десетина земље, и одати се па јекономију.

Учитељу, Андреји Калужњеву бејаше тридесет година. Пореклом је из градске чиновничке куће средњега реда, учио се у гимназији, али је на прелазу из шестога разреда у седми пао, и оставио школу. Три године се спремао час у војну службу, а час на универзитет, или у фабрику као радник. Све се то свршило тако да је он отишао у село за учитеља, пошто је то било најпростије и најлакше. О селу он није ни појма имао. Нешто је слушао о народу, и о бескорисној служби на просветном пољу међу сељацима, и то му се онда, док је био још млад, мислило. Али му се истинска служба показа досадна. Оне мисли које му је ветар био донео, ветар је и разнео, и Калужњев с временом поста радник за сами свој хлеб, радник који свога посла не разумева, коме је занат досадан, и који тражи штогод друго.

Ђирило је радо походио спахиницу. Нада Алексијевна свакад га је примала радо и чак с неким заносом. Она је свакад тражила у животу оно што

излази из реда обичности, а овај сеоски попа, толико образовани, да су се с њим могли водити теориски спорови, попа који је водио рат против оних истих мана које су њу одбијале од свештених лица, попа који тежи да уведе у живот мисли које су и њој биле миле, бејаше за њу читаво откривење. С почетка га је сматрала само као појаву занимљиву, али је ипак сумњала и очекивала кад ће он у ње заискати мало пиће за своје краве, или коју ливаду да укоси сена, или ма што друго, на што ју је био навикао отац Родион и његов бивши другар. Али Ђирило није искао никад ништа. Једном чак она га сама упита: да ли му не треба што у домаћој јекономији, и понуди своје услуге.

— У мене јекономије и нема! — одговори Ђирило: — а и да је имам, ја у вас не бих искао ништа!

— Ене, ене! А за што?

— Ето за што, ја с вами, Богу хвала, живим лепо, а чим бих примио од вас ма какву материјалну услугу, одмах бих почeo од вас зависити, и макар за једну јоту ви бисте ме мање уважавали.

Нади Алексијевић, „допадне се“ оригинални попа. У оне вечери, кад су њих троје бивали заједно, где је Мура била само слушалац њихових беседа, она је изазивала њега да искаже своје погледе на живот, и нехотице, овда онда, и она је испричала сву своју историју.

— Знате ли шта? отворено рече Ђирило, слушајући њене приче о животу у Москви и у Јевропи: — ви до сад нисте ни живели, ви сте само тे ради своје ћуди, своје ћефове.

И ту развије своју теорију. Живети се може само у селу где је и природа истинска, и људи истински, и невоља истинска. Живети без користи за кога год другога, јесте и без смисла и чак увреда. Сваки може наћи какво било угланце где може бити од користи. Не треба се напињати да се створи какво големо дело: учини што било корисно, и већ је у твом животу учињено што се учинити могло.

— Кажите ми, оче Ђирило, рашта се мени по некад чини да сте ви први истински искрен човек, кога ја сретам у животу? упита га једном Нада Алексијевна.

— Молим, молим, опростите! Искрених људи има у свету; ја сам их сам доста сретао! — ватreno одговори Ђирило. — Ви их нисте опажали за то, што сте на људе гледали с висине и о лако. Може бити да сам ја први човек ком сте ви учинили част да се загледате у њега онако како треба.

Наста пролеће. У априлу Мура већ преста одлазити Крупејевој. Њезино стање бејаше озбиљно. Писаше у град Ани Николајевној, она дође и дођеде са собом бабицу. Тек што противница прекорачи праг од црквене куће, она се натмурит горе од ноћи. Извежбане очи њене одмах видеше да се благостање младога пара кроз готово целу годину није ни у којику увећало. Овде онде опажали су се трагови праве сиромаштине. Њезин поглед, који је навикао устављати се и на ситницама, упи се у величку руцу на чаршаву којим бејаше сто покривен. У памештају није ништа уништено, али не беше ништа ни приновљено. Све је стајало онако како је памештено још први пут, то јест, оскудно, као у соби какве сиромашне гостионице: астали, диван, кревети, ормани, неколико столица, огледало на столићу, дуварни сат, и иконе у углу. Она обиђе авлију, вајат, шталу — и све нађе празно. Нема кола, нема својих коња, нема управо ништа. Сиђе у подрум — ни ту не нађе нишића, нити ичега другог што се у подруму држи. „Niшта немају, ништа нису стекли!“ с болом у душам ишиљаше противница: — „Моја је ћни просјакиња“ Сад се она сама обрати Текли и стаде распитивати. С Муром се није могло говорити зато што је на ком добу. Њу Текла лепо закла својим извештајем.

— Боже мој, Боже мој! говорила је она с истинитом тугом: — шта се ово у нас ради? Ја немам речи да вам све испричам. Све се купује: млеко на стаклета купујемо; скоруп, масло, све, све из дућана узимам! Немају за што краву да купе! Спахиница

нудила две. То ми је њен настојник казивао — није примио. „Не могу, вели, да примам дарове!“ Треба ли да куд оде — у поштара узима коње.... Хоћете ли веровати да сирота поша штеди и које јајце више да потроши! А у њеном стању сами расудите како је то! Дохотка никајка! У пређашњих попова крчи амбар од жита, не зна шта ће с њим. Има ћурака, има прасаца, има телади, и свашта, свашта. А сад ни новаца не узима... Ето како се ради!... Ђакон и ђак тек што не умиру од глади. То вам ја говорим саму истину...

— Шта је ово? Шта је ово? у очајању мишљаше Ана Николајевна: — зар сам ја ово спремила мојој кћери? — Хтела је говорити с Ђирилом, али је промислила да то неће ништа помоћи. — Ја ћу депо отићи преосвештеном анатераћу и оца Гаврила, да и он пође. Нека га он обавести. Не буде ли ништа, узећу Муру и одвести кући. Одиста шта је ово и како је? Ако он хоће да се посвети, што није отишao у калуђере? Зашто се је жецио? Јадна моја Мурка!...

С Ђирилом Ана Николајевна није готово ни говорила и старала се чак да и не гледа у њега, а у Муру је пилпала с тугом и уздисањем. Рођење се сврши срећно; противница оста девет дана. А како Мура уста с постелje, она се опрости и оде узвеши са собом и бабицу. Није хтела сачекати крштење, само је узела од Муре реч да ће сину наденути дедино име — Гаврило. Она оде с тврдом намером да ради....

Марција Гавриловна врло срећно преbole порођајне болове. Уставши с постелje, она се већ осећаше готово здрава и дојила је синчића прекрасним млеком. Малишан бејаше здравачак. Крстише га, и наденуше му име Гаврило. Кумовали су му Нада Алексијевна и ђак Дементије, који стојећи напоредо са спахиницом бејаше у неописаној забуни. А кад се сврши крштење, и кад се Крупејева спремаше да иде, он улови тренутак на стубама, где не бејаше никога, те је као кум замоли за десетину земље да посеје

бостан. Нада Алексијевна даде му одмах и он бејаше необично задовољан. На скоро после тога дододи се оно што су одавно очекивали у Лугову. Једном — то бејаше у суботу пред вечерњу — црквени чувар смотри да у цркви прилазе са два коња кола старога кроја, која су се страшно струцкала јер нису имала пругла. Из кола промоли главу најпре нека мила женска страна и упита:

— Где је овде кућа свештеника оца Родиона Манускриптора?

— Оца Родиона кућа? Запита са своје стране чувар: — а што ће вам она, кад у њој нема никога? Има по године како је отац Родион премештен!

Тада се женска глава трже унутра, а јави се глава мушка и проговори:

— Помози Бог, драги! рече она пријатним темпором: — ти си по свој прилици црквени чувар?

— Са свим тако. Ја сам чувар црквени.

— А ја сам свештеник, на место оца Родиона. Покажи нам његову кућу, ми ћemo тамо живети. Ми смо ту кућу купили.

Чувар лагано скиде капу и опет тромо рече:

— Изволите! Одведе их до саме куће и ту виде да се великом друмом приближују троја кола с на-мештајем и свакојаким покућанством. После он оде Тирилу и јави:

— Нови попа, који је одређен на место оца Родиона, дошао је.

— А, дошао је? Врло ми је мило! — рече Ђирило и помисли: „Сад то није тако страшно. *Мој* је обичај већ пустис корен.“

— И тако је млад као и ви, оче! додаде чувар.

На то Ђирило не рече ништа, али помисли: то је боље. Млађи ће ме лакше разумети него стари.

Други дан, за време службе, парохијани се с чуђењем расклонише те учинише пут новом свештенику који ћаше у олтару. Он бејаше малога раста, јака састава, а лице му дихаше здрављем и уздањем у се. Угасито љубичаста мантија његова стајаше му као да је порасла на њему, и одговараше боји лица

његова. Он иђаше тихо, ходом побожне смерности. Пришавши к олтару, поклони се и целива икону. Држаше се тако као да ће се сад окренут народу и изговорити кратку проповед, или барем рећи: „Ја сам свештеник Макарије Силоамски, послан на место Родиона Манускриптона.“ Он то не учини, него уђе у олтар на побочна врата. Ту метаниса три пута, и, поклонивши се за тим Кирилу који стајаше пред престолом обучен, побожно стаде подаље. Тако одстоја цеду службу, при чему показиваше у свему несумњиву побожност: шапташе молитве где треба, клањаше се до земље, или само прикланајаше главу, где је што кад ваљало, а лице му је показивало да само мисли о молитви. После службе он, ту у олтару, приђе Кирилу и врло уљудно узе од њега благослов.

— Допустите, да вам се представим: свештеник Макарије Силоамски! — рече он.

Кирило се њему приказа и замоли да му дође после цркве.

— Да, да, разуме се, потребно је разговорити се! — рече Силоамски.

После службе он је пio чај у Кирила. Показа се човек весео и разговоран, врло је много говорио о семинарији, о професорима, о ректору и о инспектору. Он је прошлога лета свршио школу, па је целу годину остао као певац (псаломчик) у цркви. Кирило га је се сећао још кад је био младић, у првој години семинарије, а Кирило је тада свршавао семинарију.

— Кад сам, пред подизак, отишао преосвештеному, он ми је веома пријатно говорио о вама. Рече ми да сте веома паметан, и да сви треба да се у вас поуче! — каза поред осталога Силоамски.

— Хвала преосвештеному! — одговори Кирило.

— Тако се ја надам да ћемо ми живети мирно и сложно! рече нови свештеник, подигнувши се да се поклони.

— Ја сам тому од срца рад!

Кирило се уздржа од сваког објашњавања. Све ће се објаснити само собом.

Пред вече Обновљенски оду људи спахиници. Мура

походи Наду Алексијевну први пут после порођаја. Седели су у трпезаријп за чајним столом. Прозори у сад беху отворени. Тамо је већ било расцветалога цвећа, и соба бејаше пуна мириса. Ђирило причаше како се познао с новим свештеником и изражаваше радост што је он млад, и што му је то прва парохија.

— У њега се још није увукла рутина, и користољубље није још могло обладати њиме. Млада је душа приступачнија добру, и ви ћете видети како ће то бити мени красан друг!

Нада Алексијевна слушаше те речи с осмејком неверице на лицу. Очи њене, управљене у Ђирила, као да хоћаху рећи: „Какво си ти још простодушно дете! Нећеш ти, мајци, наћи друга, зато што ти један и јеси такав!“

У тај мах јавише да је дошао нови свештеник. Нада Алексијевна науми да га прими у другој соби, и изђе онамо.

Али врата остале пола отворена, и Обновљенски су могли чути сав разговор.

Силоамски уђе важно, и пре свега стаде тражити иконе. Опазивши малу иконицу у углу, под самим таваном, он се три пута прекрсти и поклони онамо ка икони. За тим се поклони и домаћици.

— Допустите да вам се представим: ја сам нови свештеник Макарије Силоамски.

Нада Алексијевна одговори поклоном, и позва га да седне.

— Гад сте дошли? упита она колико тек да буде каквог разговора.

— Јуче. Па сам већ данас сматрао за дужност одстајати службу, и представити се свом старијем брату, опу Ђирилу. После сам се пожурио к вама. Допустите, много поштована Надо Алексијевна, најдати се да ћу с ваше стране бити благонаклоњено примљен.

— Ја сам вам на служби!

— Не, за сад вас нећу узнемиривати никаквом молбом, но доцније може бити какве потребе. На прилику биће кравица или две, па где да се напасају?

Или, рецимо, недостане сенца — кога да замолиш, ако не благонаклоњену спахиницу?

— Ја сам вам на служби! понови Нада Алексијевна, и устаде с лицем још хладнијим него у почетку.

— Више вас не смем узнемиравати! — рече отац Макарије и, уставши и он, лагано приклони главу а леву руку стави на груди. Нада Алексијевна климну главом, додавши:

— Ево овуда! Ако је по вољи! Та врата воде у сад. Ви јамачно имате своје коње?

— Имам два добра коњића; добио сам са женом. Добри су, ватрени... Нема разговора! Клањам се!

Нада Алексијевна врати се у трпезарију и отпоче говорити о баштовану који већ три дана негде није, и не долази у сад. Она се у опште чувала ружно говорити о људма, држећи да је то дано сплеткашицама.

— Што ви не кажете штогод о свом госту? упитаје Мура.

— Он је учинио на мене рђав утисак! — рече Нада Алексијевна и настави даље о баштовану. Кирило жалостиво потну главу и мишљаше: „Још га лепо није ни видела, а он трчи да јој каже: ја сам мољакало, не заборавите! Још му ништа и не треба, а он се већ боји да га људи не узму за человека самостојна. Чудна ствар! Откуда то долази? У семинарији га тому инсу учили, а живео је још тако мало. Није ли то већ ушло у крв и прелази из колена у колено као нека особита подобност? Ала је то жалосно, ала је жалосно!“

Цело вече бејаше без воље. Нада Алексијевна бејаше под владом рђавога утиска. Она се старала забавити госте, али некако није се могло. Кирило је слушао непажљиво и одговарао без воље. Он је мислио „о особитој подобности која је ушла у крв“ његове сабраће, и „предавала се од колена колену.“

Вратише се кући рано, чим прође девет сата. Мура се журила к детету. Тек што се попеше уза стубе прквене куће зачудише се да је ходник осветљен

и да има гостију. То беху ћакон Симеун и ћак Дементије. Видећи домаћине, обојица с поштовањем усташе, и шешири им се обдедоше у рукама. Зашто не уђете у собу? — упита Кирило: — Текла! што их ниси звала у собу?

— Ја сам их, попо, звала, али не хтедоше, одговори Текла.

— Не мари!... Ваздух је тако пријатан! — нежно рече ћакон. Кирило их узва у собу. Марија Гавриловна уђе у спаваћу собу, и забави се око детета.

— Па шта ви имате, господо? упита их Кирило, пошто их склони да седну.

Ђакон се искашља, и проговори некако застајкујући: — Ми смо дошли к вама, оче Кирило, по свом послу... Давно смо се спремали ја и Дементије Јермилић да узнемиримо вашу пажњу, али, између осталога... Ђак Дементије, јамачно, опази да ћакон не угађа, па се он сам громогласно накашља и груну:

— Пропадосмо, оче Кирило, са свим пропадосмо!

Кирило га погледа. — Како то? упита он.

— Хоћемо од глади да помремо, оче Кирило!

— Од глади?

— Од глади, оче Кирило! Трпели смо ми дуго, бојали смо се вас узнемиривати... Али, најпосле, више се не може. Велике породице имамо, а хране никакве. Плата од спахинице не достиже, земљице мало, од парохијана забрањено узимати, а нико ништа и не да.

— Све је тако, све је тако! тврђаше ћакон.

— Не тражимо ми ништа одвише, оче Кирило, него само да се изхранимо хлебом. Деца плачу, хлеба шту, оче Кирило!

Кирило је већ ходао по соби затуривши руке за леђа, и оборивши главу к земљи. Њему бејаше јасно да ћакону и ћаку доиста плата не стиже да саставе крај с крајем. Њему самом плати једва сачекаваше једна другу. У њих је плате мање а деце више. У њега је тек једно детенце, па и оно не троши ништа. Тешко му беше веома. Он је сам створио немаштину овим људма, а није имао снаге да им

помогне. Да му штогод претиче, он би им то понудио, али му није претицало ни паре. Одустати пак од не-говога већ уведенога реда он није могао никако. То је била његова прва победа коју је високо ценио.

— Оче Кирило! — смотрено рече ћакон. Кирило се устави и погледа у њега.

— Ми смо с молбом дошли.

— Де-те, де-те! журно рече Кирило. Њему се веома хтело да та молба њима помогне, а он да је може испунити.

— Земљице ми имамо мало, а у вас, оче Кирило, има више, чак има врло много црквене земље. И та земља лежи празна... Не бисте ли нам хтели дати неколико — за четврти спон.

— А колико земље мени припада? живо упита Кирило.

— Вама припада четрдесет четири десетине, и ливада шест, то је свега педесет.

— То је прекрасно! — Прекрасно! — радосно викну Кирило: — ви њу засејавајте! Засејавајте себи. Мени ништа не треба. Ја немам кад, а и не умем, при том мени је и ово доста... Да, да! узмите и сејте, молим вас!

Ћакон и ћак гледаху га а не разумеваху. — Па како то?... поче Дементије, али нађе да је боље ођутати. Кирило поћута један часак, па онда упита:

— Е кажите ми: хоће ли вам то бити довољно?

— Ми смо захвални; веома смо захвални! одговорише они клањајући се ниско.

— Е онда пођите с Богом и радите, само се на мене не срдите!

Они се још једном поклонише и пзиђоше.

— Светац, прави светац! рече ћакон готово на ухо ћаку, кад већ беху зашли за цркву.

— Сутра зором да оремо! Јер се може показати. Може га одвратити спахиница или тај Макарије.

— А Макарије неће бити такав. Добро је препреден! То се већ види... Дошао у цркву па се тако упреподобио да мислиш сав је пред Богом, а

одмах после одјурио спахинци и јамачно је камчио што било.

— Море! па ко ће сад с нама? рече Дементије с истинским задовољством, плескајући по леђима ћакона, а овај се сагибао као лоза под тешком руком Дементијевом: — по двадесет пет десетина нових, и наших петнаест — свега четрдесет. Море ја и ви, оче ћаконе, можемо бити спахије, а? Светац!. Бог и душа, светац! Њему нешто недостаје у глави!

Кад Кирило уђе у спавању собу, Мура га упита:

— Што ти то учини, Кирило?

— Ови немају, Муро, баш немају испита, одговори он.

— Али смо ми за ту земљу могли узети шест стотина рубала!

— Море, зар си ти такав рачунција? истински се зачуди Кирило.

— То ми је казала Текла! — суморно одговори Мура, и више о томе није рекла ни речи. А и Текла, чујући сав тај разговор, бејаше страшно срдита и лупаше ватраљем по кујни.

XII

Отац Макарије Силоамски бејаше један од оних „студената семинарије,” који још од првог разреда, то јест, од самога свога детињства, све своје подобности и тежње спремају и удешавају за парохију. Парохија им се и не представља пред очима другогајаче, него као пзвор доходака, с врећама жита, с мерицама проса, с понудама и дарима од имућијих парохијана, с пилићима, кокошкама — живима и печенима — и с сваким другим „дародајанијем“ које је сваки дужан чинити свом попи. Тако уз то, као допуна, долази служба, вечерња, јутрења, и други обреди. А никад им ни у главу не долази мисао о том: с каким ће људма они имати посла, какве дужности њима намеће живљење у парохији, хоће ли они уте-

цати па своје стадо, и како ће утецати. И кад до-бију што желе, онда се од њих развију пастири — што свршавају требе. Њих зову на венчање, или крштење и они иду; а парохијани са своје стране доносе им разне дохотке. И парохијани од њих и не очекују никакве духовне хране, осем онога што служе у цркви, и што врше по требнику.

Ти „студенти семинарије“ сву своју жудњу за науком засите оним што има у школским књигама, а из књижевности читају само оно што има у читанкама и другим ручним књигама. И у богословској књижевности они не иду даље од тога. На тај начин с поља им ништа не смета држати се свога правца, то јест, спремати се за парохију — како ће се забрати приходи. Доцније кад им се догоди да се десе у кругу људи образованих, они некад зачуђавају кратким или дрским судом о том: како је Гоголь био одличан писац, како је Тургењев написао „Бежин Луг“, а Пушкин „Таљиге живота“ и „Бесове.“ Кад оду на парохију, онда поруче и држе „Њиву“, и „Јепархиске Новине“, и тим потпунце ограниче све своје свезе с интелигентним светом; а ако се на њих погледа са стране, онда човек ће обузме туга од њихове ограничености и тамноће, и намеће му се мисао: чему они могу научити простога човека? Каквим га виделом могу обасјати? Мало по мало, с годинама, они побораве чак и оно што се налази у читанкама и, место, да своје стадо уздижу до своје висине, неосетно се испореде с њим, сишући у се све њихове предрасуде и заблуде.

Отац Макарије док је био у семинарији био је владичин певац. У њега је високи тенор, и у једно доба светски су му људи световали да се спрема за оперу. Али је он на ствари гледао као практичан човек. Он је волео сеницу у рукама него ждрала под облацима, то јест, он је волео парохију. Владика га је послao у Лугово за његове певачке заслуге, јер је Лугово било на гласу као врло добра парохија. Он је купио кућу од оца Родиона преко неког по-средника, и дошао је у Лугово с највеселијом надом

на парохиске дохотке. Али на првој пратњи он се престрави кад не доби никакве плаће! Незгодно му је било у самом почетку обратити се сељаку тражбном. С тога стане распитивати у ћакона и ћака.

— Како је с наплатом? Како се плаћа у вас? Пре или после?

— У нас не плаћају ни пре ни после! — рекне Дементије, и уз то с невероватним лукавством погледа у ћакона. Његов је поглед говорио: „Гледајте оче ћаконе, како ће се сад намрштити.“

Но Силоамски се не намршти, него му опре очи у лице, и готово гневно рекне:

— Не збијам ја шегу, него питам какав је ред овде?

Дементије опет значајно мигне ћакону! „пазите само, оче ћаконе, пазите!“

— Ево какав је ред у нас: за требе ни паре! Све иде бадава. Потпунце бесплатно. Само хлеб који се доноси о даћама и оно друго, примамо.

— Ви, као да хоћете мене да варате, опет као и пре срдпто, али још и с неким малим страхом, рече Силоамски.

— Како би то било? Зар бих се ја усудио? Оче ћаконе, кажите је ли тако?

— Са свим тако! — рече ћакон: — до оца Тирила билп су дохоци не може боли бити, али отац Кирпло их изобичаји.

— Како изобичаји? Од чега ће се живети? Па мора се некако живети. Не може бити... ја то никако не могу да разумем.

„Почекај, поочекај! па ћеш разумети!“ помисли Дементије и објасни: — Живети? Живети се мора од плате! Г-ђа спахиница је из својих прихода одредила плату: свештеницима по педесет рубала на месец, а нама много мање.

Силоамски п нехотице трже шарену мараму из цепа те обриса звој који му изби по челу. Он се осети као да је у један мах запао у гвожђа.

— Гледај ти какав је овде ред! Парохија без доходака? Ха, ха, ха! Е то ћемо ми видети, то ћемо

видети! Треба разгледати по каквом праву тако уре-ћује настојатељ! Ми ћемо то видети!...

Он то изрече. ни мало не кријући злобе, и заборавивши да му треба сачувати побожно држање, скидаше одежду тако жустро, да је умalo није раздерао.

Дементије и Ѓакон беху веома злуради. Силоамски њима не беше по вољи и они, ма да су и сами јадиковали за прећашњим дохочима, ипак су пецали његово срце својим објашњењима. Они су се већ били задовољили. На Тириловој земљи коју су они поделили по пола, већ се зеленио први усев, и они су се одиста осећали као спахије. Силоамски најпре оде кући, али одмах изиђе из собе, узе шешир и упути се Тирилу. Ушавши у стан настојатељу, он чак заборави поздравити се, него одмах отпоче о предмету. Одмах поче викати највишим тенором:

— Молим вас, оче Тирило, шта је ово? Какав је ово ред? По каквом праву? На каквом основу?

— Што је? Што је, за Бога? упита Тирило, устајући иза обеднога стола, и утирући салветом усне. Марија Гавриловна гледајући на Силоамскога, бејаше се препала.

— Па ето, ја вас питам: на ком основу? Где је тај закон? Покажите ми га, тај закон! продужаваше Силоамски са свим избезумљен кад је видео што је у „најбогатијој парохији.“ — И ако сте ви настојатељ, те власти немате. Не, немате; то вама није дано. Опростите!

— У чем је ствар, оче Макарије? Ја ништа не могу да разумем!

— Како у чем је ствар? Ви сте изобичајили законите дохотке, и завели некакву плату од некаквих педесет рубаља на месец... Марим ја за вашу плату! Ја имам право на законите дохотке.

— Одиста, рече Тирило тврдо и убедљиво: — у нас је такав ред, и вами не остаје друго него се покоравати том реду!

— Ни по коју цену! Да се покорим реду који сте ви измислили? Никад за никад! Ја не примам

вашу плату, и тражију да ми се плати што ми припада. А какво право имате ви? Та то је прекорачавање права! Ја ћу се жалити, и вас, вас ће у манастир послати... Немојте ви мислiti што сте магистрант, да ће вам се све дозволити! Владика мене познаје, ја сам био његов певац! Видећете ви!

— Ма да ја нисам био владичин мевац, опет вас молим да идете одавде, зато што се владате не-пристојно! проговори Ђирило, једва скривајући своју српску. Тада млађани пастир, који је тек настао да живи од свога труда, већ тако ватрено и тако упорно тражи приходе, тражи право да своју службу претвори у занат! То га је и једило, и жалостило, и бацило у очајање. А он се још толико уздао у његову младост која, како је он држао, мало мари за користи! Ето отац Родион био је стар, и сав напојен старим навикама, па он тако држко и тако нагло није тражио својих права на приходе.

Чувши позив да одлази, исказан опорим тоном, Силоамски се устави и као за часак охладне. Он није желео вређати настојатеља нити се свађати с њим. Његова правила то нису дозвољала. Алп у љутини није ни опазио колико се је развикао и био одиста непристојан.

— Опростите! рече он Марциј Гавриловној и поклони јој се: — ја одиста у ватри пређох меру, и може бити рекох и штогод увредљиво. Допустите ми да се објасним...

Али Ђирило њега већ не слушаше. Он је, јако потресен, ходao по соби. Његов је мир већ био отрован. Више од пола године, он је био сам на парохији и чинило му се је да је нови обичај већ примљен и утврђен, да је тај обичај у Лугову већ постао закон, против кога се ни спорити не може. Али га је највише мучило то што тај млади попа њега тако исто не разуме као и стари отац Родион, па и мање још од оца Родиона. Шта ће то бити? Хоће ли он остати да се бори сам самцит? Зар је та атмосфера од векова, у којој се развија нов појас пастира, њих тако ухватила и прожела на скроз, да у разум њихов

не може да продре ниједна светла идеја, за разумно појимање својега задатка? А какав је њихов задатак? Никакав на свету — него онај који имају сви људи: да живе задовољно и да теку за старост.

Кирило се устави и погледа у Силоамскога тужним очима. Па му рече ниским и као већ замореним гласом:

— Ми се немамо о чем објашњавати, оче Маркије! Одмах се види да један другога нећемо разумети. Ја и ви се разликујемо много, много. Разликују нам се појмови, разни су нам циљеви, и тежње. Ви тражите приход, а ја прихода не тражим; он вас весели, а мене ожалошњава! Ви сте дошли овамо да се обогатите, а ја сам дошао да послужим сиромасима и простијем људма. Рашта бисмо се објашњавали? То је само од себе јасно. Једно ћу вам само казати: чините што вам драго, а обичаје које сам ја завео овде не напуштам. То је све што вам могу казати!...

И Кирило се спусти на диван, блед, и са свим потресен. Силоамски га погледа онако испод обрва, па тај поглед пренесе и на Марију Гавrilовну, оправи свој шешир, окрену се вратима и оде.

Целу недељу дана Силоамски је гутао јед и ипшта није предузимао. После Кирилових речи, он се није осећао чврст ни у свом праву. Разумео је да то није Кирилова самовоља, али ипак је нека лудорија, баш као што је говорио и отац Родион.

Недеља прође. Једном у вече Силоамски позове к себи ђакона, оца Симеуна, и понуди га врло љубазно да остане на чају с њим и попадијом му. Попадија је била врло млада, и доста лепа плавојка; говорила је рапавим гласом из груди, и готово је пиштала.

— Знате, ово је страшно, није друго него ужасно! — говораше она ђакону, и уз то њене живе очице беху готове заплакати. — Ми смо се истрошили, купили смо ову кућу и на један мах такво изненађење. Може ли бити да власт трпи таку самовољу?

— И ето видите трпи! Ја и Дементије Јермалић већ читаву годину страдамо! — с притворним учешћем

рече ћакон, не казавши, разуме се, ништа о земљи коју им је Кирило дао.

— Збила, оче ћаконе, каква је личност ова спашвица? упита Силоамски.

— Спахиница? Бог би је свети знао, каква је. Ми њу никад и не виђамо. Она седи у свом саду баш као медвед у јазбини. Ни с ким се не састаје. Од духовних лица уклања се.

— Хм... то ће рећи, сумњива. А то била.

— Него се јако подударила с оцем Кирилом. Они често долазе једно другом.

— Тако, тако! То је врло сумњиво!... врло, врло! Ја идем владици, и то ћу му јавити.

— Владици? Ја вам не бих световао.

— Зашто? Владика мене пази. Ја сам био његов певац, певао сам у кору.

— Да како, да како! Он је и соло певао, да!... с неком поноситошћу рече попадија.

— Ипак вам ја не велим! — рече ћакон: — не велим!

— Али кажите зашто, молим вас! Та ово је право безакоње! За Бога такога закона нема!...

— Рецимо да је све тако. Само је и отац Родион тако говорио и отишао владици, па изшло зло за њега. Владика му је рекао: „Ја ћу тога свештеника, то јест, оца Кирила, целој јепархији за углед да ставим, и све што он ради ја одобравам.“ Ето то је рекао преосвештени. А кад је отац Родион поменуо да би се отац Кирило преместио, владика је одговорио: „Ни пошто, ја немам зашто њега да казним.“ Ето вам како мисли преосвештени владика!...

— Све то може бити! — надувено одговори Силоамски: — али је друго отац Родион, а друго сам ја. Нисмо ми ни издалека равни један другом.

— Није него! додаде попадија: — та ја вама кажем да је он певао и соло... То не може сваки.

Није другче, Силоамски науми да пође путем оца Родиона, и да се јави владици. Он се крене с попадијом која је била родом из вароши.

Већ после доласка оца Родиона, у губернском

траду било је доста прича о младом свештенику Обновљенском, који је, као магистрант, отишао на парохију у село, и тамо завео нечувени дотле ред, отказавши се од сваке наплате за требе. Али те приче нису се одржале дugo међу људма од реда свештеничког. Нико их није подржавао. Сам отац Родион причао је двојици тројици пријатеља у првој љутини, али после разговора с вladиком, својих прича није понављао и чак је и на питања обућивао.

Силоамски попа и попадија обиђу све своје поznанike којих је било врло mnogo. Отац Макарије је походио попе, а супруга му попе. — Силоамски оде чак и ректору семинарије оцу Межову, и причао му је за Ђирила.

— Да, да, да сам готово то предвиђао и говорио сам владици. У њега је још и онда, кад је дошао из академије било веке одлудности и замлаћивања.

— Он је свакад био малко луд, а сад је полудео са свим, рећи ће млади Межов, који је врло напредно вршио дужност инспекторску у семинарији: — Ако Бога знате, што му је било да као магистрант иде у село? Има ли ту зрно памети?

— Знате шта, Силоамски! — рече ректор: — не мојте ви хитати владици. Најпре ћу ја отићи к њему, и говорићу с њим са свим озбиљно. Ваља сви да на валимо да образумимо тога младога человека! Или, знате што: отидите владици сутра у десет часова, а ја ћу већ бити тамо.

Приче о том како је Ђирило настран човек врло су брзо облетеле све црквене куће у губернском граду, и у вече су већ биле долетеље и до оца Гаврила Фортификантова и до Ане Николајевне.

— Шта је то, за Бога и по Богу, викала је Ана Николајевна: — он је већ постао прича за цео град, за сву губернију! И то је мој зет, муж моје кћери?! Та зар ће то тако остати? Оче Гаврило! Ти се мораш својски постарати. Мораш ићи владици, и молити, тражити, ја не знам шта... Треба избавити наше дете!...

Отац Гаврило, човек мирнога карактера, који је о свачем на свету мислио да ће — „док се умеше — бити брашна,” очет на наваљивање њезино диже се и оде ректору да се разговоре. Они углаве да заједно оду владици. И дођу заједно. Пред изласком стајају владичине каруце, у које беху упрегнута четири вранца. Они се пожурише на горњи бој. Ректор иђаше напред, корачајући с величим достојанством; за њим је хитно а жустро корачао Силоамски, а већ мало подаље, замишљено, и погнувши главу тромо се је поо отац Гаврило Фортifikантов. Владика изиђе одмах. Бејаше у угасито зеленој мантији, у владичанској камилавци с дугачком панакамилавком. У десној руци држаше лепу палицу са скупоценом јабуком, а у левој — бројанице, али не оне прне, плетене од свиле, него парадне од неких ретких и лепих кампчака. Он се, очевидно, некуд журио.

— А гле какво је поштовано тројство! рече он веселим тоном. — И ја већ знам зашто сте дошли! Ти си, певче, дошао да се жалиш на Кирила Обновљенскога, је ли тако? Већ ја то познајем по очима. Отац ректор жели ти помоћи својом важношћу! Што се тиће тебе, оче Гаврило, ти си, држим, дошао само ради доброга друштва! Дакле, у чем је ствар? Кајујте! Ко ће говорити?

— Одиста, ваше преосвештенство! — започе Силоамски.

— Ето видите! Ето видите! Већ сам погодио! с тужбом, а? Нема доходака! а? Је ли то?

— И ја са своје стране сматрам за дужност катасти, — важно започе ректор, али владика и њега прекиде и не даде му довршити:

— Стидите се, пријатељи моји, стидите се!... поучно проговори он: — требало би радовати се таком појаву, као што је тај млади свештеник, а ви устали с тужбом! Сласти градскога живота он је презрео, почасти је одбро, и без своје користи служи ближњему свом. Шта је ту ружно? Е, ти си оче ректоре дорматик на гласу, кажи шта је ту ружно у суштини саме ствари?

— Ваше преосвештенство! он са спахиницом има неке сумњиве послове! — журно рече Силоамски, бојећи се да га владика не пресече на првој речи.

То изазва чуђење на лицу ректоровом, а отац Гаврило се зајапури од љутине.

— Сметењаче један! цикну владика: — за ту даж тебе би требало послати у манастир на месец дана. Ништа сумњиво у његовим пословима нема; у њега је душа чиста као у одојчета!

И рекавши то, владика пође ка изласку. Тројство стајаше збуњено и зачуђено: како се ово ствар окрете на један мах!

Кад они стијоше у авлију, каруце бејаху отишле. Некако изиђе само од себе да њих тројица одоше на три стране. Особито се брзо и незнано куда сакри Силоамски, кога је било стид, што је он својим извештајем о спахиници искварио сву музику.

После тога случаја, међу свештенослужитељима у Лугову била је нека тишина. Силоамски се вратио из града као да ништа није ни било. О том како га је примио владика ни он, ни попадија ником речи једне пису причали. А кад је ћакон, кога је то јако интересовало, једном запитао Силоамскога шта му је рекао владика, овај му је одговорио као да није ни лук јео ни луком мирисао:

— Знате, ја сам се предомислио, па нисам ни ишао владици. Незгодно би било говорити нешто о свом другу у служби. Личило би на клевету. Ја сам смислио: да поживим овде неко време, па да замолим за премештај чак и не помињући узрова!

С Тирилом је Силоамски бро ванредно уљудан; никад није хтео говорити вишом гласом, и за бољи доказ своје смерности натерао је своју жену да походи Муру. Две поште разговарале су се једно пола сата, врло вешто држећи се свих угодаба најфинијега такта. Мура је походу вратила. И то је било све познанство.

На послетку Силоамски не могаше да се отрпи до краја. Не добијајући никаквих доходака, и пе доспевши ни засејати, нити под аренду дати црквену

земљу, он сматраше време проведено у Лугову као праву дангубу. С тога је још једном ишао у град, потрошио је масу добре воље, и покренуо све своје певачке познапике, те тако најпосле добије премештај. Месеца јула стара кућа оца Родиона опет опусти, и опет Кирило, на своје велико задовољство, оста сам на парохији.

XIII

Међу тим се је Лугову и свему срезу приближавала голема невоља. Готово целога месеца маја и кроз сав месец јуни није било кишне. Ржаница, која у почетку бејаше бујно израсла, на један мах пре времена пожуте и избаци штуро класје. Ржаница пропаде свуда; њу покосише за сламу. Надали су се људи да ће се време о Ивању дне променити, да ће пасти киша, и повратити пшеницу, али надање би узалуд: киша не паде, и пшеница стаде венути пре него што је захлебила. Равница на десет врста унаоколо бејаше видик очима тужан. Њиве жуте, а поља црна. Марва, гладна, и невесела тумарала је по спреженим пашњацима, и жалосно би се устављала у средини голих поља па невесело погледала у небо, на ком не бејаше ни прамена од облака. По некад стоку узме нека мука па целим чопором у трку појурни к речици која је пређе текла, али, видећи место воде само суво вијугаво корито, почињала је стењати с тугом која се исказати не да. У бунарима су људи чували воду као злато. Стоку су појили све рукама, бојећи се да и бунари не пресуше, па да не дође смрт од жећи. У сељака је, ипак, имало и лајске хране, коју су врло штедљиво трошили. Уз то је још било неке наде. Раж је пропала — уздали су се у пшеницу; пшеница не захлеби, даво прихвати просо. Али его и краја јула; Свети Илија прође, а киша не дође. Наста август — и сахранише се све наде!...

Тирило је и у цркви, и на требама, сретао само суморна и замишљена лица сељака, а и сам је сваки дан бивао све суморнији. Пролазећи поред механе, слушао је како се из ње разлежу: вика, песме, и псовке, и сећао се је како у добро време те вике није било толико, нити је била тако љута и оштра. Мислио је како је чудновато створен овај човек, овај чемерни и мучни сељак, који баш у гладне године нађе по неку пркавицу да да за пиће, као да хоће да не гледа своје јаде. Он се устављао, поучавао, и старао се да образуми и упути.

— Попо! говорили би му напити сељаци: — све једно је, ми ћemo од глади помрети те помрети; овако је бар и умрети веселије!

— Не треба умирати, браћо! него се треба борити! — говорио је Тирило, али је ту и сам видео да се празним речма борба не води. „Не, борити се, него трпети покорно, надајући се бољему,“ мишљаше он у себи.

Од половине августа већ почеше јављати да овде онде стока мањкава. Стока је крепавала од глади и од жеђи, и падала је усред поља, онде где се налазила. На све стране по селу чуо се плач и кујњава.

— Овако ћemo проћи и ми, као стока наша! — говораху сељаци и, гледајући краву која крепава, лили сузе тако као да им ко од рода издише.

Тирило се враћао кући узнемирен и суморан. Тешке мисли испуњавале су његову главу. Он је гледао људе којима прети близка глад, а помоћи баш ни од куда. Он је говорио речи од утехе, али одмах, с тугом у срцу, сазнавао је да те речи неће никога утешити, него да је ту потребна истинска помоћ, помоћ делом, помоћ храном. Њега обузе нека збуњеност, неодлучност. Бивало је часака када му се сва његова радња, коју је он тако високо ценио, чинила као празна забава, ништа више! Шта је он радио? Поучавао, просвећивао, можда је кога и учинио разумнијим, можда је и просветио чију мрачну душу, али ево сад треба људма сачувати здравље, и

можда одржати живот — и ту он не може ништа! Он је престао узимати наплату за требе, то је лепо, но сада то већ није заслуга зато што и сељак нема што ни да да!

Једном му дође младић један и зове га на пратњу. То се десило баш кад он с Муром сећаше за столом и ручаше. Уђе младић у прљавој, дрњавој кошуљи, бос, а лица бледа и лишаива. Мајка му је умрла.

— Ода шта је умрла? — задржалим гласом упита Ћирило који је пре три дана видео његову мајку, Арину Терцелику, баш када је, угибајући се под обра-мицом, носила с бунара воду кући.

— Бог свети зна! — тупо гледајући у просторију, одговори младић: — веле да је од хране.

— Како то: од хране? — још с већим немиром упита Ћирило, домишљајући се да ће изићи нешто страховито.

— Синоћ је јела чорбе од мекиња, па јој се смучило, и... ето што је...

— Од мекиња? То ће рећи: једу што нађу, неким изнемоглим гласом казиваше он Мури... Једу мекиње, гледај на што су спали!...

Он је ходао по соби као ван себе. У његовим грудма спремала се страшна бура. Он је осећао, да га као некаква сила гони и приморава на некакав чудан рад, и да он већ више не припада себи. Мура га је гледала, дивила се, и плашила се. Она шане оном младићу: „Ти иди, попа ће доћи!“ А кад младић изиђе, она тихо упита:

— Ћирило, за Бога, што је с тобом?

— Муро, драга Муро! простења он и наслони главу на јене груди. Мура виде да он плаче, и стараже се умирити га, али ништа не разумеваше.

— Ћирило! Рашта је то? Зашто ти плачеш?

— Како, зашто? Зар не видиш? Настаје глад, ето то је прва смрт од глади, смрт од глади, Муро, усред људи, усред живих градова, где се бујно тргује, и људи се веселе и чине што и не треба! То је страшно, Муро! На то се не може гледати скрштених

руку! Не можемо ми тако бозболе ручати кад жена умире од чорбе од мекиња. Не можемо! Не можемо!... Ваља радити!...

То он говори, а глас му грца у грлу. За то време он гледа кроз прозор онамо на село. Његовој се уобразиљи чини да смрт већ хода из куће у кућу и да он већ доцкан стиже са својом помоћу. Ето, није ли одоцнио помоћи тој жени која је умрла од чорбе.

— Па шта ми ту можемо Ђирило? Видиш да смо и сами сиромаси! — рече Мура.

На то Ђирило не одговори ништа. Он врло журно обуче мантију, узе шепшир и оде из собе. Готово је трчао путем до спахинице. Ветар је разносио крила од његове мантије, а он, машући руком и корачајући далеко, личио је на голему тицу, која лети поврх same земље.

— Куда ли то наш попа тако трчи? чудећи се питају један другога сељаци који су га сретали: — може бити да се што необично догодило. А блед је, јадан, као самрт, и очи му пламте!...

Ђирило није ни опазио да је прошао три врсте. Он је грунуо на вратанца од сада, прошао сву стазу кроза сад, и није ни опазио како страшно лаје пас у ланцу, који, ма да га често впђа, никако се није могао да припитоми његовој мантији. Изиђе уза стубе и уђе у чекаоницу. Ту га сретну собарица.

— Где је Нада Алексијевна? — упита он и, не дочекавши одговора, прође у трпезарију.

Нада Алексијевна тек што бејаше села за сто да руча. Напоредо с њом, на високој столици, сећаше мушкарчић с везаним око грла салветом. Видевши Ђирила, она спусти кашику и устаде. Лице му је било тако необично да она није ни помислила звати га да руча, него га одмах успахирено упита:

— Шта се догодило? Кажите брзо, молим вас. Како је Марија Гавrilovna? Како је мали Гавра?...

— Ништа, ништа није, само је глад! Људи умиру од глади! — неким високим гласом одговори

он и, дигнувши руку, лагано указиваше онамо ка селу. — Онамо! додаде он.

Његов тон, његов глас, његови покрети — беху величанствени! Осетивши неко задахнуће, он у тај пар не могаше говорити просто, него само призиваше, буђаше, проповедаше! Оне речи које изговараше сада, по сата раније, учиниле би му се надувене, а то махање руком било би нешто театрално.

— Где тамо? упита Нада Алексијевна. Она је знала да је у селу неродица, и у њеној јекономији била је осетна оскудица, само далеко није у тој мери, јер је имала много земаља, па су неке и неке и родиле. Тек није ни мислила да је дошло већ до глади.

— У селу! одговори Ћирило, пређашњим гласом: — Мене су баш сад звали на пратњу Терпелики која је умрла од чорбе од мекиња! Нема шта да се једе! А ја и ви ето се слатко хранимо и сладимо у животу! Чујте ме, Надо Алексијевна, ја ћу дати све што имам, али су то само мрвице. Треба помоћ велика! Ви можете помоћи; ви треба да помогнете. И ви ћете помоћи. Зна се да је у вас прекрасно срце!...

Никада, у обично време, не би се он усудио казати јој те речи. Он би то сматрао као наметање, као мешање у туђе послове, чак као мољање, и ако је за друге. Али сада он немаше кад да мисли о тим финим танкоћама у друштвеном животу; он је гледао правце на ствар, а пред собом је видео страхоту — смрт од глади! Његово бледо лице дисаше опорим задахнућем, а пламени погледи продираху дубоко у душу. Пред Надом Алексијевном није стајао онај смерни свештеник, који се некад стидео казати како о чем мисли, а баш и ако се одушевио, старао се је савладати своје осећање и изражавати се меко. Пред њом је био задахнути пророк, у дугачкој библиској хаљини, с бледим пустињичким лицем, и с изразима дубокога мученичкога страдања.

Њу је потресао и његов говор, и његово лице, и његово држање. Она је осећала да и њу обузима

узвишено одушевљење, да и њом облађује неодољива жеља учинити заједно с њим добро дело за своје ближње.

Савладана таким осећањем, она узе њега за руку, снажно је стеже, па брзо оде у другу собу.

Кроз два минута, она се врати, и, пришавши Кирилу, даде му повелики свежање банака.

— Ово је мало, рече она опорим и задркталим гласом — свега око триста рубаља. Али у граду ја имам још!.. Могу их узети! Молим вас! — додаде она, метнувши прст на чело, као да се домишљаја: — вала да се разговорим с настојником!... Дозваше настојника. Тај старац, с дугачком брадом, и паметним, провидљивим очима, служио је још покојнога Крупејева. Као настојник, или, као што су га обично звали, јеконом, он је преживео и неуредно газдавање младога Крупејева, и пијану управу теткинога сина, и сад је сам управљао целом имовином.

— Има ли у нас залишне хране? упита га Нада Алексијева.

— Нешто мало од прошле године! — одговори он: — Ако питате за продају, не вреди прљати се: биће једно триста пуда пшенице, и другога зрна око четрдесет четвртина. Јечма може бити до три ста пуда, али то треба нама. И како је година неродна, тешко да ће и нама бити доста до друге године.

— Лепо! Иди сада.

Али настојник не одлази, него као да нешто чека да каже.

— Госпођо! Доле четири сељака моле да им се да бар меров жита... Ако нам не дате, веле, помремо од глади.

— Одмах им подајте! Овај час!

— Разумем, Госпођо!

И настојник оде.

— Сад хајдемо! рече Кирило.

— Хајдемо! — одговори она и, наредивши како да се пази на дете, брзо се спреми. И њему и њој чинило се да треба иći пешице, јер је возити се у интову онамо где мори глад, непристојно, и чак врећа.

И они се упутише великим путем. Опет су се људи с чуђењем устављали гледајући свештеника и спахиницу да иду у село с лицима потресеним и забричутим. Ишли су ћутећи. Нада Алексијевна назорице је стизала Ђирила.

Смрт Терпеликина била је само објава невољи, која је снашла Лугово. Терпелика је умрла слушајно, за то што је загладнела па се нагла на чорбу од мекиња и прејела се! Али је глад ушла већ у половину луговских кућа. Хране у тим кућама већ није било ви зрна, а и мекиња лаљских није остало много, оно, што је претекло од свиња! У неким кућама пробали су да кољу стоку те да се хране месом; али је јадна марва била тако мршава — да никаке користи вије од тога било. Деца су милела по авлијама, бледа, и сва трбушата. Ђирило и Нада Алексијевна почну од крајње куће, и са сваком кућом њихово је очајање расло. Готово је у свакој кући било болесника, који су се ваљали без икаке неге, с тога што онима здравима није било до њих. Људи су огледали да иду у „печалбу“, али је ини требало далеко, јер је неродица ухватила цео срез. Уз то је и надница била тако спада да није било вредно ни радити. Бејаше очевидно да је права глад настала још од неколико недеља, па се сад њене последице овако оштре јављају.

— Зашто сте тајили? Зашто се који није обратио за помоћ мени? питаše Нада Алексијевна.

На то питање одговорили су јој ћутањем. И она се чуђаше што се чак и сад њена помоћ не прима са свим радо, него с неким неповерењем. „Море, да нема са мном овога свештеника, можда ме не би испустили,“ мислила је она, и све то чинило јој се и природно и разумљиво. Колико је година она живела овде раме уз раме са селом, и није марила да зна што се ради у селу, шта мисле и како живе ти људи. Она се закључала у своје презирање људи, и бавила се само љубављу према свом спну. А зар су ти људи чим било изазвали презрење у њеној души? Не! То су изазвали други, а она се

туђила и од ових, пљу су могли видети само на велике празнике у цркви, из које се она журила кући, и опет се затварала у свом опалом замку у средини великога сада. За ту немарност они су јој сада плаћали неповерењем.

Они су тако ишли до позне ноћи, и вратили су се црквену кући са свим уморни. Мура се страшно плашила за Кирила. Није могла домислiti се куд се део он, па је помишљала буди Бог с нама што.

— Ах, кад би ти могла видети шта је тамо, говорио је он ватreno: — ти би оставила све, и потрчала би онамо. Гладни и бони — а ни од куд помоћи! Кака је страшна судбина забачених места! Док је све у реду, живи се и у забаченом месту с дана на дан, и ништа се не тражи друго. Али кад групе невоља, онда се тек види да је то место само самдито, баш као острво у океану! Боже мој! Колико у престоницама, и по великим градовима има људи с умом, са знањем и са срцем, али без рада, или с каквим глупним радом! О, ходите овамо у ово место за Божијим леђима! Овде вас чека живи рад! И! како је то страшно! Бога ми — homo homini lupus est. Ови једни трговци одмах се користише невољом и подигоше цене на све што је за храну да се не би могло веровати. Баш као кад је рат. Страшно!

— То је баш жалосно! — с правим учешћем рече Марија Гавrilovna: — али ми не можемо ништа учинити... Као што видиш, ми и сами немамо ништа!

Кирило оћута, али оштро натмури обрве. Нада Алексијевна замишљено гледаше прозор. Она мишљаше о том: какав је ово чудан брак, и како мало они личе једно на друго, Он је бујни ентузијаста, идејалиста, готово фанатик своје идеје који би њој за љубав, могао заборавити све на свету; а она, створење ограничено, које се диви свакој новој мисли, сваком ма колико ванредном поступку. Она њега не разуме ни најмање, а он је тако мало пажљив

према свему што се њега лично тиче да, као што се види, до сад то и не опажа.

Кирило седе писати писма. Писао је најсилнијим изразима у губерниски град свима властима, и описивао им каква је невоља задесила Лугово; тражио је лекара, лекова, хране... После напише позив за новине, молећи грађане да помогну. Свршивши све то, он одмах опреми црквеног чувара, узевши од Крупејеве најјачега и најбржега коња, и посла га у град. Извршивши и то, он се опет крену у село. Бејаше три часа јутра. У селу су се људи тек будили. Нада Алексијевна пошље за своја кола, седне и оде кући те види да јој син спава, па се опет врати у село.

Они су радили без одмора кроз четрдесет и осам сата. Где је год требало, давали су хране и новаца, али им је главна старост била о болесницима којих је било мноштво. Старали су се познати болест, али нису могли. Била је ватра, па онда бунцање, и Кирило је мислио да је то трбушни тиф, али то са свим на памет, јер знакова никаквих није знао. Тих дана дође му да сахрани троје, а Терпелика је била четврта. Трећи дан пристаде уз њих и једна добро вољка. То бејаше жена меснога писара, чељаде од својих четрдесет година, с лицем рапавим од богиња и срцем врло добрым. Некад је она била милосрдна сестра, ишла је чак у Турску, и штошта је знала у лековима и око болесника. Она одмах узме трљати, метати хладне облоге, слачицу, негде и парити, а Бога ми је давала понешто и да се пије.

Трећи дан, после тога, дође из града доктор, и то је готово сва помоћ коју даде губерниски град.

XIV

Марија Гавриловна сад је по целе дане само плакала. Кирило ју је остављао саму. Он је ретко, само два пута на дан, свраћао кући, испрекидано јој је казивао што је чуо и видео, па опет одлазио.

Мура се је десет пута спремала да му говори па некако све се измакне прилика. Једном га баш силом задржа да је саслуша.

— Кирило, што ти то радиш? Шта радиши ти? — рече она држећи мараму готову, јер су јој сузе текле сваки час.

Кирило је погледа неразговетним погледом, и као да није разумео питања.

— Погледај се у огледалу, та какав си стао? лица свога немаш! За Бога разболећеш се, умрећеш...

— Доста, Муро, о том не треба мислити! То је моја дужност, и ја њу вршим!

— Ти си измислио себи ту дужност! Ти заборављаш да имаш жену и дете!

— Истина, Муро, ти право кажеш! Бивају тренуци, а пекад и сати, када то заборављам. Али зар се може човек тога сећати кад пред собом гледа толико јада, и толико мука! замишљено проговори Кирило.

— Никад се све муке не могу утолити, нити ће се јади излечити!

— Муро, немој тако говорити, немој молим те! Тако говоре људи који неће да утоле ни једне муке, нити хоће да излече ичијих јада! Све утолити не можеш, а ти утоли оне муке које гледаш, учини онолико колико можеш. И од куд си се ти напојила том проклетом светском мудрошћу, која у теби гуши глас срича твога? Ах, Муро, Муро, да ти је знати колико је мени тешко кад то чујем из твојих уста?... Видиш, ти си моја жена, ја и ти смо везани за до века. И гле сада? Ти ме хваташ за скунте од мантије, и хоћеш да ме задржиш дома кад се ја спремам на свети рад милосрђа и учешћа у туђем јаду. А виш, ми смо још тако млади! Само сада, у ове године, човек се радо и одаје племенитим покретима, и жртвује своје лично добро. Доћи ће године стишане зрелости када п ми, јамачно, нећemo бити тако брзи да радимо за друге, када ће нам своје гнездо бити најпрече. Па што да се журимо к тим годинама, Муро? Што да се журимо к тој равнодушности?

— Ништа ја то не разумем, Ћирило, него видим само једно да ти ни мало не мариш за мене! Ти свакога љубиш више него мене, и нашега сина!...

— Доста, Муро! Истина је да ја све људи волим, тебе и Гавру нашега волим особито. Шта ћу да чиним, кад другојаче не могу?... Не, не, Муро, — с приновом снаге и готово весело додаде он па приђе к њој, узе је за руку, и пољуби је у главу: — Немој говорити таких речи, и немој ме задржавати! Ти си здрава и син наш је здрав, вама сад не треба моје старање, а онамо — их! кад би ти знала! Кад би видела! Колико је тамо моја брига потребна!

Он оде, а Мура оста да плаче! Сад ту дође Текла да све протумачи на свој начин.

— Шта се то ради? Човек ништа не може да разуме? — викну она утирући сузе вецељом: — кад погледам на вас, пошто, срце ме боли: како сте несрећна, како сте несрећна! Ево немате ни појести као што треба; да је јајца, да је каква смока! аја! Као каква калуђерица — испосница!

Мура је тада одиста постила. Ћирило је раздао парохијанима сву плату за месец август, а њих двоје су јели оно што је Текла узимала на вересију у дућану. Текла наставља:

— И ноћу и даљу сама самцита, с малом бебом, као год каква јадна удовица, а он, мужић, попа наш, све онамо с оном госпом спахиницом... Бог би га свети знао!... Не говорим ја да бих оговарала; Боже сачувай! Како би то било! Наш је попа, свештеник, ништа ружно се не може ни помислити! Ама опет, Бог би га свети знао!... Мура је гледала кроз прозор, да склони лице од Текле. Али је последње речи савладаше, и она близну плакати. Кроз прозор је видела како је Ћирило ишао сеоском улицом, како се срео с маленим, подебелим господином — она је знала да је то доктор, који је послан из града, после тога њих су стигла кола, у којима се возила Нада Алексијевна; Ћирило и доктор седоше у кола, и њих троје одвезоше се на други крај села. Мура се тргне с прозора. Да ли је то било са велика потреса, или

су је узнемирила она Теклцина намагивања — не зна се; тек је она у тај мах осетила неку велику мржњу, према Нади Алексијевној.

Нека се необична врева зачу од онуд од црквене порте, и она се трже. Она утр сузе и истрча на стубе. Кад ту — она виде већ дојездила кола, срце њено закуца и дихање заста. После два секунда она бејаше у наручју Ане Николајевне, а стари ћакон Обновљенски својим задртјалим рукама придржаваше је.

Муру унесу у собу и положе на диван; ту је лежала ван себе. Док су чинили ово и оно да се она поврати, Текла, шапућући већ некако обавести госте о стању ствари.

— Нећете веровати, мила мајко противице, колико она пати. То је памет да вам стане! Вас дуги дан она је сама самџита с детенџетом! А за јело? За јело, нећете веровати, нема ништа. Отац Ђирило је с оном госпођом све једнако по сељачким кућама!...

И све до најситнијих ситница. Стари ћакон слушаше погнувши главу, и осећајући себе крива за сина свога. Њему су нарочито поручили да дође из Устимевке, и довели га у Лугово зато, да би он, својим очинским гласом, образумио сина. Ма да је он врло добро знао да му то неће поћи за руком, опет се није смео противити вољи окружне противице. Зато је и дошао.

— Ја се нисам ни надала да овде застанем какво добро, говораше кроза сузе противница: — али ипак овако што нисам очекивала од твога сина, Боже сачувай!

А јадни је ћакон седео с погнутом главом, и положивши руке на колена. Он је знао што ће му рећи син. Рећи ће: „Одо, ово је по јеванђељу! Ја сам Самарјанин, који товарим на леђа болесника, и испирам му ране!“ И старац му не може ништа одговорити.

Мура се поврати, и уста с дивана. — Ух! про-грушало се млеко! — рече она: — чим ћу нахранити Гавру?

На материна питања, она је с почетка оћуткивала, а после каже све. Ана Николајевна пресудно рече да она те бруке више неће трпети. Она ће њега тако поучити да ће се за час образумити. Одмах заповеди Мури да прибира ствари, и да их пакује. Текла је то са свим одобравала, и још је помагала.

— Тако, тако, мајка-протинице! Верујте ви мени, да ће се он, попа наш, одмах образумити, говорила је она.

Мура се препаде од такве одлуке, замоли да се очекне, да се размисли, али протиница не хте ни да чује.

— Ако он воли тебе и сина, веруј ми, он ће онај час долетети за вама; а ако те не воли — ћаво нека га носи! отворено рече она, и ћакон, који то чу, не могаше се отрпети ту, него изиђе на поље. Он пође по селу тражити сина, да му јави каква му се беда спрема. Али док је он Ђирила тражио, свежњеви су били покезани, и Мура, гушећи се у сузама, одјезди у град с матером и сином.

Доктор је казао да у Лугову влада епидемија трбушнога тифа.

Тај доктор бејаше на очи смешан човечић — малога раста, дебео и плећат. Ходао је ситним али врло чврстим корацима, повлачећи ногу у сваком кораку, и смигујући час једним час другим раменом. Лице му бејаше првено, са широком а недугом четвртастом риђом брадом, нос заковрчен, очи плаве, и велике, а коса на глави густа и ошишана као јеж. На њему беше хаљина од пепељава платна, а од тога му бејаше и капа са сонопширом који му стрши са свим управо од широкога чела.

Он је приступио послу енергично, и одмах се с Ђирилом и Крупејевом држао као са старим познаницима. Име му је било Аркадије Андријевић Сапошков.

— Госпо! добро би било да се ви мало одморите и испавате, јер иначе можете ви место у уста слити лек у ухо болеснику! говораше он Нади Алексјевној.

То је било претерано. Нада Алексијевна је врло пажљиво вршила дужност милосрдне сестре; али тај дан кад је дошао доктор, она је одиста била необично заморена несанициом. Кроз четрдесет и осам сата није склопила око на око. Кирилу је рекао да би од њега могла бити одлична болничарка, а писареву жену је похвалпо за умешност и окретност, само је је, за име Божије, молио да не меће слачице. Он је имао једну велику ману: сваки час је викао и псовao најоштријим речма.

— Зашто тако исујете? — кротко га упита Кирило: — Зар баш не може бити без тога?

— Ама баш не може, попо! Верујте ми да не може! одговори он — Ево вам примера: ја сам доста вешт лекар. Видите и сами људи се дижу. Али забраните ви мени псовати овако од све своје душе, кунем вам се својом чашћу да ће сва моја вештина отићи без трага!... То, знате, помаже, веома помаже! Треба да вам кажем, оче, да сам се ја пре десет година, док сам био млад доктор, вежбао у војној болници, и ту сам то научио.

Он додаде да њему жене увек сметају зато што пред њима мора да угриза свој језик.

— Али се, оче, ја вама чудим! говорио је он Кирилу: — Много сам ја у веку видео попова — и младих и старих, и важних и смртих. Али су се они сви, у оваким приликама, затварали у своју собу. Страшно су се бојали од заразе. А ви? Ви сте попа-јунак!

Сапошков је радио без умора, и пође му за руком да у велике смањи епидемију. То је било у толико лакше, што сад ни у једној кући нису људи јели мекиње, него свуда хлеб. Чувши да су трговци дигли цену храни, Сапошков полети на пазар, где је била зграда као какав безистан, у ком су били јеврејски дућани. Овде се он начинио страшна старешина и подигао је велику грају.

— Ах, ви, оваки и онаки! викао је он, лупајући ногом о земљу: — та ја ћу вас све... А знате ли што ја могу учинити. Могу вас све стрпати у

тамницу, ако овога часа не станете продавати човечно храну! Овога часа ћу из града дозвати чету војника! Чујете ли ви?

И за доказ своје моћи, пустио је неколико врло жаких псовки.

Пазар се препадне, и цене се спусте на меру редовну. Тад мали докторић радио је у опште необично јуначки. Он је видео да ће његови добровољни помоћници сустати, јер је њих свега тројица, а правих болесника више од тридесет. С тога почне тражити старе бабе, и њих упућивати да буду болничарке.

— Е, Бога ти, п онако узалуд квариш ваздух, говорио би он у тој прилици. Зашто? Бојиш се заразе? Бојиш се умрењеш? Чудна ми чуда! Ако умреш, сахраниће те, пиструлићеш, први ће те појести, и то је све! Хајде, хајде! Немој се шчињати!

Сељаци су га веома миловали; особито су га волели што онако оштро уме да псује.

— Верујте ви мени, да многи сељак само од тога оздрави! — говорио је он Ђирилу. — Чује своју рођену псовчицу, па му се душа обрадује и прене!

Бакон Обновљенски нађе Ђирила чак на другом крају села. У кући, у коју је ушао, бејаше мрачно. На њега удари неки болеснички задах. Он опази две групе. Једна, у којој беху доктор и Нада Алексијевна, нешто намештаху код високога кревета. Ту је под опаклијом лежала жена у годинама, устуривши главу назад, и заклонивши очи. Доктор је имао посла с термометром. Бакон стане жмиркати не би ли видео Ђирила, али га не нађе. Тада он погледа на другу групу. Поред пећи је лежао шипарац од својих десетак година, покривен неком женском хаљином. Ђирило га је држао за руку. Бакон приђе к њему. Погледавши у сина, он се престрави од похуђалости и бледоће лица његова. Ђирило је сам лично на болесника.

— Ђирило! тихо му рече он готово на само ухо, и кад Ђирило дигне главу и погледа га, ђакон ману главом. Ђирило остави болесникову руку и устаде. Он пољуби оца у уста.

— Видите ли, оцо, шта је ово у нас? Страх Божји! рекне он и, обрнувши се доктору и Крупејевој, додаде, ово је отац мој, предобра старина!

Доктор се диже и пружи ћакону руку, Нада Алексијевна му климну главом, и добро га погледа, као да би хтела размотрити прте лица његова.

— Да изиђемо за часак! — рече Кирилу ћакон.

Кирило узе шешир, и изиђоше у гавлију.

— Видиш, ја нисам сам дошао; и ташта је твоја ту... Она се веома љути, а и жена је твоја врло незадовољна.

— А ви? упитање Кирило: — јесте ли незадовољни ви?

— О мени није реч. Протиница, Ана Николајевна, хоће да води твоју жену и сина...

Кирило се замисли за часак, као да би хтео промислити: је ли то добро, или ружно. По том рече: — Ако ће, то је добро што ће она отићи, њима ће онамо бити боље. Овде је оскудица и неспокојство. Кад се ово сврши Мура ће доћи.

— А зар теби, Кирило, неће бити тешко?

— Неће, одсечно додаде он: — неће ми бити тешко.

Ћакон седе на банак пред кућом, а Кирило уђе у кућу. Старац напусти мисао да одвраћа сина. Тон, којим је говорио Кирило, није остављао никакве наде. Видело се да је он сав пројежет том својом дужношћу, и никакве прилике, никакви лични, макар и претешки губици, не би га могли отргнути од посла кому се предао свим бићем својим. И чудновата ствар! Дотле потресен и узнемириен, сада, видевши се са сином, он се на један мах умири, баш као да га је победило синовље прегалачко лице, његова мирна беседа.

Удубен у мисли, ћакон у један мах опази да је још неко сео на банак поред њега. Он погледа па суседа. То бејаше стари старац, сав сед, са смежураним лицем, с мутним старачким очима. Он је плакао и утирао је сузе своје песнициом.

— Е, мој деда! Зашто плачеш? Бог је милостив, — рече ћакон желећи га утешити.

— О, миленко мој, није зато; не плачем зато ја, проговори стари поцепаним гласом, не могући слабим очима ни разликовати ко седи до њега. Од радости плачем, миленко мој, од радости!

— А чему се, деда, радујеш?

— Христови се људи јавили на земљи, ето чему се радујем! Као год некадашњи мученици. Ето наш попа: тако млад, а каква дела твори. Ах, ах, ах! Осамдесет ми је година, миљане мој, а такога попа видео нисам. Прави посланик Божји!... Анђели, нису људи!... Прави анђели... И знаш ли, миљане мој, кад таке људе гледаш, и грешити је срамота!... Анђели, апђели!...

Старац се крстно, и плакао. Раздрагани ђакон једва уздржа своје сузе.

Кад се он и Кирило вратише у црквену кућу, тамо бејаше све пусто. Кирило уђе у спаваћу собу, погледа на орман, с кога су биле однесене све ситнице за Мурину тоалету, погледа на детињи креветац, на ком лежаше го душечић, и неко чудно осећање стеже његове груди. „Отићи и без опроштаја! у мислима кораше он Муру: — како смо далеко ми једно од другога!“

С опем је говорио мало. Ђакон се журио да га смести да спава. Гледајући на његове ватрене очи и на грозничаво сухе губице, он се јако плашио за Кирилово здравље. „Тешко мени, теби живота нема, нема!“ — с тугом је мислио он далеко после пола ноћи, седећи поред узглавља Кирилова. Мислио је и о том: од куд његовом сину тако пламена душа? Мати му је љута, зла жена, а он — страшљив и заборављени сиромашак. Ето Назар је са свим другојачији, па и Методије још од трећега разреда мисли како би добио добро место. „На кога ли си се ти метнуо, сине мој?“ у мислима питаše старац, не смећући очију с бледога лица Кирилова. А Кирило је спавао тврдо после четрдесет и осам сата упорнога рада.

XV

Бејаше дан натуштен. Три не велика звона у луговској цркви одјекиваху тај дан некако веома свечано. Црква бејаше дунке пуна народа, чак и у порти беше мало места. Толико народа долази цркви само о Васкрсу. После тешке седмице, дође недеља. Тада су у селу људи већ били дахнули душом. Знање доктора Сапошкова, енергија Ђирилова, која је одушевљавала и покретала на рад оно добровољаца што се нађоше, а и издашност г-ђе Крупејеве — учине своје. Ђирило је служио службу. Никад до сад парохијани га нису видели такога какав бејаше тај дан. Јако похуђао, с упалим образима, блед, он се чињаше у свештеничким одеждама нешто више него дотле. Уморан радом тешке седмице, он је корачао лагано, а молитве је читao разговетно изговарајући сваку реч. Глас му је био тих, али је у цркви била така тишина, да се лепо могла чути свака реч па његова.

У цркви бејаше и Нада Алексијевна. Она је такође била бледа, и веома похуђала. Поред ње је стајао и с чуђењем гледао све што се збива у цркви црнооки детић. Крупејева њега никад пре није доводила у цркву. Али тога дана баш је хтела да и он види како Ђирило служи, и како се народ Богу моли. Ђакон Обновљенски стао је за певницу и помагао Дементију. Не далеко од певнице стајао је доктор Сапошков, који је држао да је његов посао већ свршен, и тај дан се спремао да се врати у град.

Служба се сврши, људи почеше излазити из цркве, али се не разилажаху кућама, већ стајају у порти. Сви су нешто чекали. У цркви не оста нико од парохијана. Само су Крупејева и доктор очекивали докле се скине Ђирило, јер је Нада Алексијевна молила њих обојицу да у ње ручају. И писарица је позвана била на ручак, али, као жена стидљива, бејаше се склонила у једно тамно угло, не усуђујући сестати напоредо с њима. Отац Симеун, и Дементије пословаху штошта у олтару, а стари ђакон

чекаше за певницом. Најпосле, Кирило изиђе из олтара, поздрави се са спахиницом и с доктором. К њима приступи и старац, а и писарица изиђе из угла, и сви се упутише да изиђу из цркве.

Кирило иђаше напред. Тек што он прекорачи праг, у тренут ока, с неколикох стотина глава слетеши капе, у гомили оних људи зачу се неки нејасни ромор, па се затим све утиша. Кирило се устави, изненађен том неочекиваном сценом, а уставише се и други што иђају за њим.

Сад се гомила мало растави, и из ње се издвоји висок, танак, сух старац, с оштром са свим белом ретком брадицом, с малим очима и малом ћелавом лубањом. Погнут, он се опираше на дебсо иштап, на врху кога бејаше прекрстно обе своје шаке.

— Оче, попо! — викну он задржалим али јаким и разговетним гласом, и ту глава његова задркта: — Оче попо! и сва друга господо! Господ послал невољу на нас и, са своје сиромаштине, ми вам немамо чим платити! А како ми осећамо, ето нека вам цело село каже како осећамо! Једно ћу само казати: овакога попе, и оваке господе, мора бити, да до сада на свету није ни било, пити ће бити. Ето како ми осећамо!

Старац подиже руку и својим старим рукавом обриса сузе.

У тај часак догоди се нешто чему су се још мање надали. Старац паде на колена и метаниса ударивши челом земљу пред Кирилом. То исто учишише и многи други. Остали су се приплањали до појаса и понављали речи од захвалности, које су се све сливале у неки чудан ромор. Неколико раздраганих жена приђоше ближе, прихватише скунте од Кирилове мантије, и притискивашу их на уста своја. Готово у свих њих сијају се у очима сузе. Нада Алексијевна, потресена том сценом, наслони се па црквени стуб, бојећи се да је не издаду ноге. То је било много за њезине већ уморне живце. Кирило, напротив, осећаше у грудма као два срца! Он осећаше да се баш у тај час између њега и његових

ХV

Бејаше дан натуштен. Три не велика звона у луговској цркви одјекиваху тај дан некако веома свечано. Црква бејаше дунке пуна народа, чак и у порти беше мало места. Толико народа долази цркви само о Васкрсу. После тешке седмице, дође недеља. Тада су у селу људи већ били дахнули душом. Знање доктора Сапошкова, енергија Ђирилова, која је одушевљавала и покретала на рад оно добровољаца што се нађоше, а и издашност г-ђе Крупејеве — учине своје. Ђирило је служио службу. Никад до сад парохијани га нису видели такога какав бејаше тај дан. Јако похуђао, с упалим образима, блед, он се чињаше у свештеничким одеждама нешто више него дотле. Умoran радом тешке седмице, он је корачао лагано, а молитве је читao разговетно изговарајући сваку реч. Глас му је био тих, али је у цркви била така тишнина, да се лепо могла чути свака речца његова.

У пркви бејаше и Нада Алексијевна. Она је такође била бледа, и веома похуђала. Поред ње је стајао и с чуђењем гледао све што се забива у пркви црнооки детић. Крупејева њега никад пре није доводила у цркву. Али тога дана баш је хтела да и он види како Ђирило служи, и како се народ Богу моли. Ђакон Обновљенски стао је за певницу и помагао Дементију. Не далеко од певнице стајао је доктор Сапошков, који је држао да је његов посао већ свршен, и тај дан се спремао да се врати у град.

Служба се сврши, људи почеше излазити из цркве, али се не разилажаху кућама, већ стајају у порти. Сви су нешто чекали. У цркви не оста шико од парохијана. Само су Крупејева и доктор очекивали докле се скине Ђирило, јер је Нада Алексијевна молила њих обојицу да у ње ручају. И писарица је позвана била на ручак, али, као жена стидљива, бејаше се склонила у једно тамно угло, не усуђујући сестати напоредо с њима. Отац Симеун, и Дементије пословаху штошта у олтару, а стари ђакон

чекаше за певницом. Најпосле, Ђирило изиђе из олтара, поздрави се са спахиницом и с доктором. К њима приступи и старац, а и писарица изиђе из угла, и сви се упутише да изиђу из цркве.

Ђирило иђаше напред. Тек што он прекорачи праг, у тренут оква, с неколикох стотина глава слетеши капе, у гомили оних људи зачу се неки нејасни ромор, па се затим све утиша. Ђирило се устави, изненађен том неочекиваном сценом, а уставише се и други што иђају за њим.

Сад се гомила мало растави, и из ње се издвоји висок, танак, сух старац, с оштром са свим белом ретком брадицом, с малим очима и малом ћелавом лубањом. Погнут, он се опираше на дебсо штап, на врху кога бејаше прекрстно обе своје шаке.

— Оче, попо! — викну он задржалим али јаким и разговетним гласом, и ту глава његова задркта: — Оче попо! и сва друга господо! Господ послал невољу на нас и, са своје сиромаштине, ми вам немамо чим платити! А како ми осећамо, ето нека вам цело село каже како осећамо! Једно ћу само казати: овакога попе, и оваке господе, мора бити, да до сада на свету није ни било, пити ће бити. Ето како ми осећамо!

Старац подиже руку и својим стариим рукавом обриса сузе.

У тај часак догоди се нешто чему су се још мање надали. Старац паде на колена и метаниса ударивши челом земљу пред Ђирилом. То исто учишше и многи други. Остали су се приплањали до појаса и понављали речи од захвалности, које су се све сливале у неки чудан ромор. Неколико раздрганих жена приђоше ближе, прихватише скуне од Ђирилове мантије, и притискивају их на уста своја. Готово у свих њих сијају се у очима сузе. Нада Алексијевна, потресена том сценом, наслопи се на црквени стуб, бојећи се да је не издаду ноге. То је било много за њезине већ уморне живце. Ђирило, напротив, осећаше у грудма као два срца! Он осећаше да се баш у тај час између њега и његових

парохијана утврђује чврста, непрекидна веза, и да сада он има силну власт над том гомилом људи. Осетио је он, да су све оно, што је он њима говорио, биле речи и речи које су они по свој прилици про-пуштали мимо уши, али ако им он што каже сада, да ће дубоко запасти у њихове душе, и да ће се показати на њима као поука примљена и усвојена. Он је морао говорити и, дигнувши руку онако величанствено, као онда, кад је звао у помоћ Наду Алексијевну, рекне:

— Пријатељи моји, чујте ме, чујте! Бог је нас покарао за грехове наше, а који од нас може рећи да неће и од сада грешити, и заслужити опет истово? Ова несрећа може доћи и други пут, и нас затећи неприправне. Зато послушајте ви мене сада, кад су срца ваша очишћена и раздрагана, закуните ми се овога часа: да никад нећете пити преко мере, а паре које сте трошили за пиће, да ћете улагати у заједничку касу, ради помоћи ближњима — ако би осванио прни дан.

— Врло добро! Врло добро! Ми ћемо позатворити механе, и донећемо општинску одлуку.

— Не, не! одговори Кирило: — Одлука се може погазити. Механе ћете ви затворити, али ћете преко трдесет врста ићи да тражите ракије. — Не треба одлука. Ви се само мени овде на овом месту зареците! Заричете ли се?

— Заричемо се! загрми гомила као један човек.

Кирило не беше још сишао с последњега ступња од црквених врата, кад опази да га неко загрли, и стаде љубити у уста. То је био старац који му је изговорио у почетку оне речи. Сада наста љубљење без kraja. Сви су се љубили: и доктор, и Нада Алексијевна, па чак и стари ћакон који је плакао више од свих других.

Нада је Алексијевна једва дошла до свога интова. Кроз не више него по сата, она је претрпела толике силне утиске, да су њени живци малакали. Са свим изнемогла, она заповеди да одмах возе кући.

Кад јој гости, који су се ижљубили скоро са целим селом, дођоше, она их дочека, али већ bona. А Ђирило бејаше свеж, јакован, и за ручком говораше много. Он је у неком заносу гласно снивао о том како ће тек од сад радити успешно. Сад се између њега и његових парохијана испрела веза коју ништа не може прекинути. За недељу дана, он је стекао голему власт над њима. Говорио је да се пижанство може са свим уништити, говорио је о уштедама, које ће помоћи да се газдинство унапреди; говорио је о школи за одрасле...

— Да, да, Надо Алексијевна! Вама и мени сада је чврсто под ногама. Ми смо данас завојевали Лугово! И ми ћемо, здравље Боже, отићи далеко! Тако одушевљено говораше Ђирило.

Нада Алексијевна се боно осмејкиваше, и на њега погледаше тужно и неразговетно. Она је госте врло љубазно нудила да једу, а сама није ништа окусила, па и у разговор се није мешала. Одмах по ручку дођоше двоколице за доктора и за старца Обновљенскога који је наумио да најпре оде у град, и да пропита шта раде и шта мисле Фортификантови.

— Ах, ви мили и драги људи! Како ми је жао растати се с вама! Веома ми је жао! говораше Сапошков већ седајући на седало намештено од сена: — Попо! немојте заборавити свратити оној жени, како јој оно беше име? Прелеченица, како ли?... Њој треба променити завоје! — додаде он.

Бакон, ћутећи, пољуби се с Ђирилом, и додаде: — сети се, сине слатки, и себе! Ни Бог, ни савест то не забрањују!..

Ђирило га замоли да поздрави и пољуби целу породицу, и да каже Мури, да је сада у Лугову све добро, те нека се што пре врати с малим Гавром. Ту се и писарица опрости и оде својој кући, са свим задовољна што се, трудом својим око болесника, познала с таким, по њеном мишљењу сјајним друштвом.

Нада Алексијевна и Ђирило осташе сами.

— Хајдемо мало у башту! — рече она. Хтела бих мало више ваздуха!

Они сиђу са стуба. Сунце се тај дан није по-маљало иза облака, али су облаци били мирни, отворено пепељави, налик на густу маглу, и без страха од кишне. Слабачак поветарац једва је лелејао гране на дрвећу. Под ногама је тек овде онде шуштало сухо лишће са дрвећа. Ваздух је био чист и свеж: дихати је било ласно.

Они су ишли напоредо. Малиша отрча напред. Он је знао сваки кутић у саду, јер је у том саду и кући он све своје време проводио. Тад мали васпитаник дивљак готово није ни виђао људе, и све њих, осем мајке и настојињка, сматрао је за туђине, и клонио се од њих. Тек последњих седмица он се мало свикао с Ђирилом и почeo га је сматрати као некога свога пријатеља.

Надо Алексијевна узме на леђа белу везену мараму, и сваки час би се здржавала и умотавала том марамом.

— Ви сте се са свим раскравили, Надо Алексијевна! — рече јој Ђирило, гледајући у њено бледо лице и сав болеснички њен лик?

Она се горко осмехну, смагну раменима, и јаче се зави марамом.

— И време је да се раскравим и... да дам оставку! — и сад се зацени кратким и као изнуженим смехом. Ђирило помисли: „болесна је, Бог и душа болесна!“ па не одговори ништа.

— А што ми не одговарате? — настави Крупејева: — што не велите како то? Зар ви — тако млада па већ дајете оставку? Тек што сте нешто мало учинили — и већ сте се уморили? Зашто ви тако не говорите? — Дајте ми руку, — ја се управо поводим.

Ђирило није умео нудити руке госпама, и њему се чинило да широки рукави од мантије томе сметају. Али се Крупејева сама приближи к њему, узе га за руку, и спажно се ослони на њу.

— Вама је потребан одмор, Надо Алексијевна! — рече Ђирило.

Крупејева или то није чула, или није марила да чује.

— Ја сам лудо провела свој живот! — тихо говораше она као зато, да то само он може чути: — у мом животу има само један крупан и вредан пажње догађај, па и тај је највећа моја лудорија!... Људи с војима сам се познавала, изазивали су у мене само презирање... Ви сте једини човек кога ја поштујем.

Кирило је опажао да она сва дркће, а тихи њезин говор био је готов претворити се у плач.

— Е па ето ми и радимо заједно! меко јој одговори он.

— Чујте ме, продужаваше она оним тихим гласом: — Зашто ви носите ту мантију? — Ето ви не верујете... Скините је!...

У тихом, једва чујном гласу њеном, осећало се захтевање.

— Ко вам је то казао? Ја верујем у Бога који ми помаже доњи до срца ових простих људи. Без њега ја никад то не бих могао достићи!... одговори Кирило дубоко увереним тоном.

— Нека је и тако! Али зашто вам је то одело?

— Зашто? зато, да бих имао права мешати се у њихов живот. Ово ми је одело воћ...

— Ах! боно пројеча она: — то су све речи, све same речи. А што све за њих? Зар ја нисам тако исто јадан и достојан милостите створ, као они што су? Зар ми немамо права на делић среће. А ја хоћу, најпосле, среће! Чујте ме!...

Као да га је нешто жигнуло изнутра, он се на један мах отрже од ње, и стаде је гледати разрочаченим очима.

— Ви... Ви?... питаше он, а већ осећаше да га језик не служи, и немаше снаге да изговори што је хтео.

Нада Алексијевна примаче се стаблу једне јабуке гране од које беху се спустиле на њихове главе и, пруживши руку, слабачко се наслони на јабуку. Она гледаше у Кирила. Лице њезинно, сад тамно према пепељавој боји ваздуха, исказиваше потпуну клонулост духа, млитавост и бескрајну тугу. Говорила је и даље оним слабим гласом, који је, рекао би човек, готов био свакога тренутка умукнути.

— Па и ви сте ми ту криви! Зашто сте ми дошли са својом праведношћу, какве ја нисам видела ни у кога, с отвореношћу, у биће које ја нисам ни веровала? Ви сте ме пробудили из мого мирнога сна, који бар није покретао у мени никаких питања, никаких жеља, никакака немира. Ја сам живела као у сну — ви сте ме разбудили. Својим надахнутим лицем ви сте мене електрисали, и ја сам пошла за вама не питајући ни куда, ни рашта. И кад сам дошла дотле да не могу да будем без вас, кад сам готова да будем ваша покорна робиња, и да идеј у свет с вама, ви ме гледате пренеражено. Зашто? Овде нема правде, ви сте први пут према мени неискрени! Ви треба да сте болећи и према мени. То треба — то је тако природно, ми смо се тако сродили, тако разумемо једно друго!

— И ви то говорите мени, свештенику, који има своју жену! — усуди се, најпосле, одговорити он.

— Жену своју ви не љубите, и не говорите те неистине! — оштро га пресече она, па је глас опет издаде, и стаде слабији него пре: — опростите ми и заборавите све што сам вам казала... Ја сам се преварила... Ја ћу још данас отићи одавде!

И она брзо оде напред стазом, скрену на лево, и изгуби се иза густога дрвећа. Трило постоја неколико часака. Прва му мисао бејаше да пође за њом; чинило му се да се она поводи, да може сваки час пасти, и да јој може затребати помоћ. Али после се сети да ће јој бити тешко његово учешће. Зато окрену назад. Чудно му беше што она плаче, али се ипак упути ка изласку. Није смео ни да се обазре, и са страхом се сећао о малопрећашњој сцени, која бејаше за њега нешто са свим неочекивано.

Кући је ишао тако брзо, као да бежи испред потере. Сад је узео сећати се свега што му пре није ни падало на ум. Сећао се је оне живости која се опажала на лицу Наде Алексијевне кад год јој је он одлазио, сећао се оне чудне готовости с којом је она на једну његову реч пошла за њим, одрешила своју кесу, и отворила своје амбаре сељацима за које до

јуче није марила ни да чује. Сећао се је, најпосле, и оних других погледа, које је она устављала на њему, кад је говорио са сељацима, особито тога дана пред црквом. И све то заједно с неочекиваним расплетом, који тек што се спрши, чињаше му се нешто чудно и неразумљиво. Он је био врло прост. Он није могао да разуме како се може говорити о љубави с човеком који има жену и дете, и особито још ако је тај човек свештеник!...

Кад је дошао кући бејаше већ доцкан. У вечерњем ваздуху осећала се влага, од које се је требало склонити у собу. Он је у стан, прође по собама и уједан мах као први пут да осети да је сам самцит. Желео је да види Муру и сина, и нека тешка студен стеже му срце.

Дugo је ходао с краја на крај ослушкијући звуке својих рођених корака. Ти звуци, које он пређе никад није чуо, јер није био сам, бејашу му немили звуци. У глави му се ројило хиљаду мисли и осећања, и он је мислио о том како је тешко сложити све различне захтеве које људи траже од живота.

Дође Текла и унесе у собу запаљену свећу.

— Ту, попо, имате и писама! рече она. На њега је она гледала натмурено. Она није одобравала што он ради, и није могла да му опрости што је отишла Мура, а и све друго.

— Писама? упита живо Кприло и пође јој на сусрет.

— Да писама; једно ту на столићу стоји одавно. Мора да је из града. Поштар га је донео. А друго је сад донесено од спахипца.

Кприло пружи руку. Текла му додаде малу куверту.

У куверти бејаше картица-посетница, и на другој страни бејаше написано: „Молим вас, као пријатеља, да заборавите све што је данас било, и да очувате о мени само добар спомен. Ја одлазим овога часа. Кад се излечим од своје болести, вратићу се, и бићу вам помоћница, а сад не могу. Стежем вашу руку. Сељаке као и до сад упућујте у моју канце-

ларију. Ја сам наредила. Ала је у вас светла, прекрасна душа!“

Ћирило лагано исцепа картицу на ситна парчета и спусти у корпу. Изиђе му пред очи бледо, изнемогло лице Наде Алексијевне, кад му је говорила своје чудне речи, њене забленуле очи, и груди које су дихале испрекидано. И он осети да је жали као болеснога пријатеља, и што није могао на растанку руковати се с њом. Јер она је тако свесрдно давала и своје новце, и своје време, и своје здравље. „Да, то је болест, али ће она проћи, и Нада Алексијевна ће се вратити. Ми ћемо се састати као пријатељи!“ мишљаше он. Сети се другога писма. На куверти поштанска марка, и рукопис Ане Николајевне.

„Онда то није од Муре!“ — помисли он и отвори куверту. Протиница пише кратко, али величанствено: „Љубазни зете, Ћирило Игњатијевићу! Твоји лудачки поступци извели су нас из стрпљења, и ми смо били принуђени узети од тебе жену твоју а кћер нашу, заједно с нашим унуком. Ми смо се надали, и то је било природно, да ћеш ти други дан долетети у град за својом породицом, али смо се преварили, ти о том и не мислиш. Жена се твоја купа у сузама, али се к теби неће вратити, макар и из саме поносности. Ти ћеш породицу моћи добити тек после кад се опремиши! Тебе љубећа и теби и својој кћери среће жељећа ташта, Ана Фортifikантова.“

На дну, после потписа додато је још:

„Преосветитељ готов ти је дати место у граду, у трговачкој цркви, ако захелиш.“

Ћирило сави писмо и стави га на столац. Два пута се прохода по соби, па се устави пред прозором и погледа на село. Ероз вечерњи сумрак сељачке кућице представљају се као какве пепељаве тачке; овде онде видела се и светлост. Представљало му се како он ради личне среће, ради мирнога и задовољног живота, оставља ово пепељаво село, и пресељава се у град на парохију богате трговачке цркве. И та му се мисао показа ружна, неочувано...

— Опаметити се! то ће рећи поћи по утапканој стази, живети без мисли, без идеје. Не, ја се никад нећу опаметити! Никад! Нека будем сам, нека ми чак и сина узму!

Али осети да му је син потребан, и одлучи да га пре или после врати к себи. Сина ће он сам учити како ће мислiti и живети, то он ником другом неће уступити. Он ће прелити у њега своју пламену душу, и начиниће га борцем као и сам што је. И зар је он сам самцит? А шта су те пепељаве кућице у којима вики такав живот, и којима је он толико потребан? Зар он њих није освојио, зар се није с њима сродио? Ту се Ћирило сети Препеченице, за коју му доктор поручи на поласку, обуче мантију, узе штал, и чврстим корацима изиђе на улицу.

КРАЈ

1

1

**ИЗДАЊА
СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ**

1. **Живот и прикљученија Димитрија Обрадовића**, за штампу приредио и предговор написао Ђивко Поповић. У Београду 1892. Цена 2 дин.
2. **С мора и са сува**, прве д-ра Милана Јовановића, У Београду 1892. Цена 2 „
3. **Даворје Ј. Ст. Поповића**, за штампу приредио и речник и предговор написао Љубомир Стојановић. У Београду 1892. Цена 2 „
4. **Бакоња Фра-Брне** написао Симо Матавуљ; с речником и предговором Љубомира Јовановића. У Београду 1892. Цена 2 „
5. **Драматски списи** Косте Трифковића, свеска I, за штампу приредио и предговор написао Данило А. Живаљевић. У Београду 1892. Цена 2 „
6. **Истинска служба**, написао И. Н. Потапенко, првео М. Ђ. Милићевић. У Београду 1892. Цена 2 „
7. **Историја Српскога народа** с погледом на историју суседих Хрвата и Бугара написали Љубомир Ковачевић и Љубомир Јовановић, свеска I, У Београду 1892. Цена 2 „
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Stanford University Libraries

3 6105 124 450 680



**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.



